



Дмитрий Михайлович Урнов

На благо лошадей. Очерки иппические

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8643735

Дмитрий Урнов. На благо лошадей. Конный мир за последние семьдесят лет. Очерки иппические:
Издательство им. Сабашниковых; Москва; 2011
ISBN 5-8242-0126-9

Аннотация

Дмитрий Михайлович Урнов (род. в 1936 г., Москва), литератор, выпускник Московского Университета, доктор филологических наук, профессор. Автор известных книг «По словам лошади», «Кони в океане», «Железный посыл», «Похищение белого коня». Новое издание «На благо лошадей» адресовано как любителям конного спорта и иппической литературы, так и широкому кругу читателей.

Содержание

К читателю	5
Словами лошади	6
«Словами лошади»	7
Волшебный мир	24
Жизнь на благо лошадей	38
Миллион Николая Насибова	55
Абсент по соседству	59
Требования к хорошей лошади, или Всегда в посыле	66
Жизнь замечательных лошадей	68
Вечные кони	69
Бравый	73
Почему проиграл Крепыш	80
Фар-Лэп	94
Победа Квадрата	98
Участь «Апикса»	101
Цена «Песняра»	104
Люди возле лошадей	110
Финский посыл	111
Трагик и «Гамлет»	116
Как женился Лешка Аист	118
Профан или Профиль?	120
Прилепские времена	122
Эпилог 2010 года	126
«По этапу»	130
Конец ознакомительного фрагмента.	133

Дмитрий Урнов

На благо лошадей. Конный мир за последние семьдесят лет. Очерки иппические

Иллюстрации Алексея Глухарева

Издательство и автор выражают признательность за разрешение использовать фотографии из журнала «Смитсониан», из архивов агентства «Новости», ипподромов Йонкерс, Лорел, Московского ипподрома и Музея коневодства, Натальи Костиковой

Предварительная редакция и консультации Ответственного Секретаря Содружества рысистого коневодства, капитана Первого ранга О. А. Горлова

Редактор Л. Заковоротная

© Издательство им. Сабашниковых, 2011

© Д. М. Урнов, 2011

© А. Н. Глухарев, иллюстрации, 2011

К читателю

В нашем современном мире вдруг начал возрождаться интерес к литературе о лошади, появляются издания, целые сборники художественных произведений, пользующиеся спросом у читателей. Замечательные писатели различных стран в своей жизни соприкасались с лошадьми, конным миром. Однако только единицы участвовали непосредственно в тренинге и испытаниях лошадей, работе на конюшне ипподрома, запросто общались с корифеями: от всемирно известных ученых, аристократов до наездников, жокеев, ковбоев.

Именно такой обширный опыт имел и в полной мере использовал Дмитрий Михайлович Урнов. Конно-Спортивная школа «Труд», Московский конный завод № 1, Центральный Московский ипподром, Одесский ипподром, Кавказ, Киргизия, Англия, США, Франция, Австралия, Новая Зеландия – всюду, где только удавалось ему побывать, он, литературовед по профессии, старался соприкоснуться с лошадьми и конниками. Первый Международный конный аукцион, Международный Приз Мира, первые выступления наших рысаков за океаном – он оказался свидетелем и даже участником важных конноспортивных событий, не только зрителем на трибунах.

Уникальные возможности, представившиеся Дмитрию Михайловичу, позволили ему рассказать о виденном, познакомить нас с замечательными людьми и лошадьми. Его книги «По словам лошади», «Кони в океане», «Железный посыл», «Похищение белого коня» стали поистине бестселлерами 1960–1970-х годов. Дополненные и переработанные очерки из этих книг составили основу нового издания, озаглавленного «На благо лошадей». Выражаем уверенность, что оно станет прекрасным подарком любителям конного спорта, а также настоящим литературным памятником конникам и лошадям прошедшего века.

В настоящее время Дмитрий Михайлович на пенсии, недавно справил свое 75-летие, активно сотрудничает в таких изданиях, как «Беговые ведомости» и альманах «Ахал-Теке», он продолжает помогать российским конникам в их международных контактах.

А. П. Ползунова

Вице-Председатель Содружества рысистого коневодства,

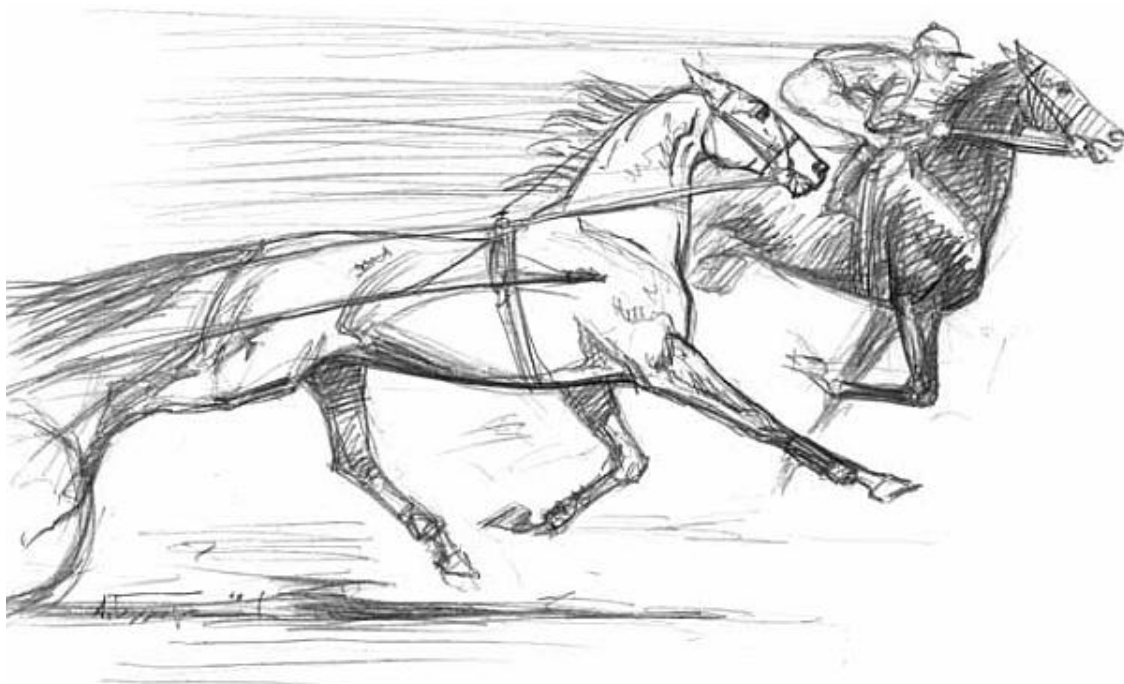
мастер-наездник,

кандидат сельскохозяйственных наук

«Словами лошади»

«Я проходил вдоль скачек...»

А. Блок



Мой дед, старый воздухоплаватель, хотел видеть меня авиатором. Когда было мне пять лет, каждое воскресенье ездили мы с ним смотреть самолеты. От Пушкинской площади отправлялись на троллейбусе к аэропорту, и где-то на полпути слышался голос кондуктора: «Бега!»

– Дед, что значит «бега»?

Дед ревновал мои интересы ко всему, что только не *летание*, разъяснять ненужное считал излишним и отвечал всего-навсего:

– Там бегают лошади.

Однако, сам того не желая, он-то и открыл мне конный спорт. Он давал мне рассматривать старые журналы начала века, когда только появились первые самолеты, похожие на книжные полки, какие теснились у деда вокруг письменного стола. Дед видел полеты Райта, говорил с пилотом Нестеровым, и, конечно, если он сам перелистывал страницы и стучал пальцем по картинкам, я смотрел только на самолеты. Разглядывая журналы без него, я видел не одни летательные аппараты, но и многое другое, например, лошадей. Лошадей попадалось гораздо больше, чем «летунов».



Дмитрий Урнов. В Орегоне, 1995 г. Фото Фила Кайса.



Тройка Александра Панкова на Парижской выставке.



Наставление сыну. Шарж И. Б. Воробьевой-Урновой, 1940 г.



Шалун, Копыток и Буланый – первые лошади, на которых научил меня ездить верхом сын конюха Иван Баранов. 1947. Зарисовка И. Б. Воробьевой-Урновой.



На перегоне скота в Северной Дакоте.

«Что ж сгорбился, как кот за заборе?!!» – комментарий Н. Будённой. 1979 г.



Кучера и ковбои. Ферма «Акадия», Нортфильд, Огайо. Фото из журнала «Хорс энд Шоу», 1969.







«Волшебный мир» Алексея Шторха, жокея и художника.



«Вожжи в руках». Виктор Эдуардович Ратомский. Фото А. Шторха.



Барбаро в руках Эдуардо Прадо берет Дерби в Кентукки. Фото «Ассошиейтед Пресс», 2006.



Кунак – чемпион породы 2006 г. на выводке ЦМИ, чемпион России 2009 г. по типу и экстерьеру, победитель приза Крепыша 2007 г., производитель конного завода Климента Мельникова.



Лотос – неоднократный победитель в Париже, Казани, Уфе, ЦМИ. Тренер – мастер-наездник международного класса Виталий Константинович Танишин.



Мемуары Якова Ивановича Бутовича «Лошади моей души» – подарок конникам. Изданы К. Мельниковым, владельцем конного завода.



На конном заводе Климента Мельникова.

Я увидел: бега – это лошади с маленькими двухколесными повозками. Кроме того, есть скачки – там же, на бегах, но ездок сидит не в двухколеске, а верхом. Мне стали знакомы имена, встречавшиеся в журналах особенно часто: Крепыш и Кейтон. Крепыш был серый с черными кожаными крышками на глазах, Кейтон – в очках, как пилот, и с хлыстом в руке.

Журналы были подобраны у деда образцово, и прежняя жизнь разворачивалась передо мной в последовательности. Без пропусков, по порядку мог я проследить, как полвека тому назад готовился Интернациональный приз, как все волновались, взвешивали, кто же победит: наш великан Крепыш или же гнедой американец Дженераль-Эйч? Толпа чернела на фотографиях: шла на бега Москва смотреть схватку орловца с иностранцем.

Решался вопрос спортивной национальной чести. Лошадь еще сохраняла всю полноту своего значения в хозяйстве, армии, и потому среди других видов спорта первенствовали бега и скачки. Строились конюшни, где лошадям было предложено если не на золоте есть, то во всяком случае стойла для скакунов сооружали чуть ли не мраморные, – бестолковый, однако внушительный памятник тогдашнего отношения к лошади. Манежи действовали в центре больших городов. Когда бежал Крепыш, на ипподром отправлялась вся Москва. Будто сам я был в той толпе и, подымаясь на носках, старался увидеть, как пройден первый круг, – настолько переживал я за Крепыша. Он проиграл! Не потому, что оказался хуже, а из-за коварства Кейтона. Снова и снова разбирал я в журнале статью про исторический бег, всегда задерживаясь на последних строках: «Жаль Крепыша!» А потом вдруг почему-то говорилось в журнале: «Как жаль уходящей молодости!»

С тех пор, если отправлялись мы с дедом смотреть самолеты и кондуктор говорил «Бега!», мне всякий раз вспоминалось: «Жаль уходящей молодости!»

Недавно все в том же троллейбусе молодая женщина с малышом спросила:

– Какая следующая остановка?

Кондуктора теперь в троллейбусе не было, и я ответил:

– Бега.

– Мама, что такое «бега»? – спросил мальчик.

«Жаль уходящей молодости!» – произнес я про себя.

Женщина сказала:

– Не знаю.

Что такое бега? Какая разница – бега и скачки, рысак и скакун, наездник или жокей? Чем чистокровная лошадь отличается от чистопородной? Орловский рысак – из Орла? После верховой езды ноги обязательно становятся кривыми? Про Вронского и Фру-Фру у Толстого – правда? Что значит Холстомер, мерин и пегий? Когда говорится «посыл», это куда или что посылают? Почему у лошадей селезенка от сытости екает? Лошади едят только овес? Что важнее: хороший ездок или хорошая лошадь? Что такое лошадь, в конце концов? – такие вопросы приходилось слышать множество раз.

Не сделался я по профессии ни летчиком, ни лошадиником, а стал литератором и лишь отчасти лошадиником. Для меня самого иные из этих вопросов, если взять их в высшем, специальном смысле, остаются темны.

– Вожжи в руках, – только и услышал я от опытного наездника, когда добивался, почему лошадь, на которой еду я, идет боком, а у него – на чистом ходу.

Я тогда начинал ездить и делал ошибки простейшие. Наездник мог бы объяснить подробнее, указать приемы. Он же сразу сказал о главном секрете. Позднее приемы стали мне известны. Я узнал про лошадей и езду едва ли не все, что можно и нужно было узнать, однако неуловимая магия мастерства, *tact équestre*, как выражался знаменитый ездок Филлис, «чувство лошади» по-прежнему не давалось мне, и, терпя неудачи, я твердил про себя те же слова.

«Вожжи в руках» – вот таинство. Садится один, и лошадь, чувствуя руки, идет как часы, ноги не сменит, а у другого – никак.

В рассказе «Изумруд» Куприн поймал момент идеального хода. У него раскрыто таинственное взаимное понимание между наездником и лошадей. Серый Изумруд вспоминает своего наездника: «Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем как радостно, гордо и страшно приятно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить его – Изумруда – до того счастливого, гармоничного состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело, и так легко».

Гамлет у Шекспира с восторгом наблюдал конную репризу знаменитого французского ездока Ламона:

*К седлу, казалось, он прирос и лошадь
К таким чудесным принуждал движениям,
Что он и конь его как будто были
Одно творение.*

О подобном искусстве и говорят «чувство лошади», «руки» или «железный посыл», то есть умение взять от лошади все, что можно, или даже больше того, на что она вообще способна. Это – высшее. Меня сокрушали задачи куда более скромные. Я нашел их описанными в «Зазеркалье» у Льюиса Кэрролла, что, впрочем, естественно, ибо (как иные утверждают) наиболее причудливые и самые современные понятия о положении человека в пространстве и даже сама теория относительности могут быть вычитаны из этой детской книжки. О положении в седле там говорится вполне актуально, по крайней мере, для меня.

– Великое искусство верховой езды состоит... – с этими словами рыцарь Зазеркалья обычно вываливается из седла.

Моя беда заключалась и в том, что я старался постичь навыки езды слишком филологически (по основной своей специальности) – через слова. Как называется? Что это такое? – без этого я не способен был двинуться. И находились наездники, тренеры, которые терпеливо втолковывали, что и как. С умением, вообще характерным для лошадиников, они говорили картинно, что называется, по охоте, как и подобает этому живописному делу. Особое

владение хлыстом, посыл, сборка, понимание пэйса (резвости),¹ величие былых и нынешних мастеров – все это сверкало в их устах и у меня перед глазами, однако неизбежно вставала грань, за которой объяснения бессильны: «Вожжи в руках!»

Отчасти тут есть и филологическая – словесная проблема. «Кататься пришел?» – иногда спрашивают меня на конюшне и обижают жестоко. Катаются на пони детишки в зоопарке! А я что – мальчик? Новичок? Разве надо за мной присматривать, когда я сажусь на лошадь? Обидеть, конечно, и не думают. Так чаще всего говорят люди, которые сами-то не очень понимают дело, на конюшне они оказались случайно. От мастеров «кататься» не услышишь. «Будете ездить? Отработаете гнедого», – таковы их слова. У конников, как в любой профессиональной среде, есть свой язык, которым они пользуются виртуозно, и всякий, кто сколько-нибудь их понимает, различит в речи конюшни красочно выражаемые тончайшие смысловые оттенки в описании лошадей и взаимоотношения с ними. Конники пользуются и обычными словами, но с особыми ударениями и отличительным произношением, и если шахтеры говорят «добыча», то наездник скажет о жеребце «резóв».

«Истинные конники вообще ездить не любят», – энтузиасты доходят и до таких крайностей. Лошадь для них предмет созерцания и восторгов, словом, переживаний, а не практического использования. Но уж если говорить о понятиях, среди конников принятых, то на лошади не катаются и не ездят. «Лошадь ездят», «лошадь работают» – такие существенные оттенки подчеркивают активность всадника; они передают серьезность, системность, сознательность обращения с лошадью, это как всякий труд, как любая работа.

У неискушенных при виде лошади или при мысли о ней возникает импульс мчаться, лететь, нестись. «Конь несет меня лихой, а куда – не знаю», – сказал поэт, и всякий, кто подобно Дон-Кихоту, почерпнувшему из романов представления о рыцаре, всякий, говоря, кто также вычитал лошадей из книг, убежден, будто на лошади надо обязательно нестись и лететь. Между тем у конников нет доверия к всаднику, который только и может, что носиться на лошади. «Что вы носитесь?» – спрашивают его с досадой, то есть, почему человек не управляет, не распоряжается лошадью сам, а она его таскает, куда ей вздумается.

Дон-Кихот, едва только выехал за ворота, тотчас бросил поводья, предоставив Росинанту выбирать дорогу и думая, что в этом состоит вся тайна приключений. Рыцарю печального образа приходится все время искать приключения и навязывать свое благородство. «Остановись, несчастный! Дай я тебя спасу и вообще облагодетельствую!» Он получает за это по заслугам. Кому, в самом деле, надобно насильственно навязанное благородство? Так и езда на лошади удастся лишь при естественном положении всадника в седле, когда лошадь совершенно подчинена человеку, а он, располагая ею, позволяет ей показать свои способности, свою силу.

По страницам книг лошади обычно носятся. «Куда несешься ты?» – спрашивает Гоголь свою тройку. «Люблю скакать на горячей лошади», – говорит у Лермонтова Печорин, а затем, когда приходит решительный момент, мы видим, как он «беспощадно погонял измученного коня, который, хрипя и весь в пене, мчал по каменистой дороге». Впечатление как бы стремительной скачки. Можно, однако, представить более реально, что это была за резвость. Печорин полагал делать пять верст примерно в десять минут. Стало быть, километр минуты за полторы или чуть больше. Это размашистый галоп, по-казачьему намет. Скачка же, которая действительно способна оставить впечатление полета, совершается на ту же километровую дистанцию менее минуты. Конечно, Печорин не жокей, его Черкес – кабардинец, а не чистокровный скакун, и кавказские перегоны – не дорожка ипподрома. Для обычной лошади в обычных условиях это, разумеется, быстро. Надо только учесть достоверность внешнего

¹ От англ. «расе» – в отличие от спйда (speed) означает не скорость бега, а напряжение борьбы на дорожке.

впечатления: что на романтическом языке называется «мчать» – в самом деле довольно медленная процедура.

Не позавидуешь человеку, если лошадь действительно понесла. И у него не явится никаких поэтических чувств, кроме отвратительного ощущения бессилия перед ожесточившимся, обезумевшим животным. Нет, лучше уж объясняться с лошадью на скромном и суховатом, на дружески деловом языке.

«Жаль, – говорил Гете, – что лошадь лишена дара речи». «Лошадь не человек, – признает крупнейший американский наездник Стэнли Дансер, – она не скажет вам, когда чувствует себя готовой к резвой езде». «Мне известно это со слов самой лошади», – уверяет англичанин, если он заядлый лошажник и хочет подчеркнуть, будто у него прогнозы на розыгрыш призов самые достоверные. А кто лучше лошади знает, на что она окажется способна? Но ведь «слова лошади» – это только фраза, настолько привившаяся в английском языке, что ею обозначают вообще точные сведения. На самом деле лошадь не доверит ни полслова своих секретов. «У лошади интервью не возьмешь», – сокрушался журналист Ирвинг Радд, умевший развязать язык у кого угодно.

Мне приходилось быть у конников переводчиком, а посторонние люди, услышав об этом, спрашивали: «Лошадям переводите?» О, если бы в самом деле владел я лошадиным слогом! По крайней мере, так, как владеют им истинные знатоки лошадей, о них пишущие. «Курские помещики хорошо пишут», – говорится у Гоголя. Конники, надо признать, пишут не хуже. Что курские! Если коснется скачек или конских статей, то есть надобности передать восторг и великолепие бега кровной лошади или все оттенки ее форм, то иные из конников, взявшись за перо, не уступят в этом не только курским, но орловским и даже тульским – классическим описаниям лошадей Тургенева и самого Толстого. Они и пишут так, словно классный рысак бежит, – не меняя ноги. Виноват, руки... Сила слога, изящество, отчетливость и картинность действительно подобны у них слаженным и стремительным движениям породистого коня. Нет, я перевожу только людям. Мне повезло хотя бы в том, что я слышал выдающихся конников, ездил с ними и потому из первоисточника узнал конный спорт – «по словам лошади», как он есть.

* * *

Время фантастической техники, эра космоса, а все-таки, стремясь к Луне, человек не забывает первозданного транспорта. Пожалуй, чем ближе к Луне, тем дороже становится лошадь. «Ну, поехали!» – по-кучерски сказал на старте Юрий Гагарин.

«А лошадь настоящая?» – спросил современный маленький мальчик, увидев на фотографии коня рядом с автомобилем. Машиной его не удивишь... Что мальчик! Взрослые люди, которые еще верят в существование лошадей, должно быть, не подозревают, что среди них достоинств скакунов стоит сейчас больше, чем самый роскошный автомобиль. Как предмет экспорта лошади находятся в одном ряду с классическими произведениями искусства и уникальными драгоценностями. И в самом деле, лошадь является своего рода произведением искусства – коневодческого чутья и тренерского умения. Победа, подобная высшему олимпийскому пьедесталу или выигрышу Приза Европы, венчает целенаправленные усилия множества энтузиастов. Ведь прежде чем мастер-ездок сядет в седло или возьмется за вожжи, нужно воспитать лошадь. И вот увенчаны лаврами Абсент и Анилин, Ихор и Легион. Мы радуемся успехам тех, кого видим рядом с ними. А между тем на конном заводе где-нибудь в Сальских степях не только зоотехник, составлявший подбор родителей будущего чемпиона, не только тренер, впервые положивший на него седло или надевший сбрую, не только конюх, чистивший и кормивший его изо дня в день, но даже ночной сторож скажет с гордостью: «Это мой конь!» И в подтверждение своих слов расскажет, как он, дежуря на

конюшне, каждую ночь подбрасывал прославившемуся коню свежего сенца, какие были у него, тогда еще никому не ведомой знаменитости, повадки, каким он с детских лет отличался норовом.

Мы говорим о лошадях все чаще еще и потому, что конный спорт становится у нас все более массовым. Были ведь и предрассудки, в силу которых конный спорт третировался как нечто «аристократическое», узкое, а стало быть отживающее: «Проехать на лошадке в Гайд-парке или в Булонском лесу...» Почему же? Разве Сокольники, Измайлово или окрестности наших кавказских курортов менее подходят для прогулок верхом? Стоило открыть первые, еще весьма скромные прокатные конюшни, как возле них выстроились длинные очереди желающих.

Конный спорт отличается долголетием, и ему, как благотворному чувству, оказываются покорны все возрасты. Такой известный любитель верховой езды, как Лев Николаевич Толстой, не расставался с конем до конца своих дней, до восьмидесяти лет. А шведский всадник Сен-Сир стал олимпийским чемпионом, когда ему было уже за шестьдесят. Генетик Добжанский в поисках дрозофилы не покидал седла.

Нет, не содержится противоречия в том, что, двигаясь на космических скоростях, современный человек не забывает: «Несется конь быстрее лани...» Конечно, по нынешним понятиям эта скорость весьма относительная, довольно скромная. И все-таки конь продолжает сопровождать, служить человеку прежде всего потому, что это существо связывает человека с чем-то истинно земным, что было, есть и будет каждому из нас дорого. «Езда на лошади – увлечение не из поверхностных. Нельзя поехать и бросить, как откладывают в сторону колоду карт. Это возвышенная страсть. Она поглощает человека целиком, и едва она овладела вами, вы должны знать, что в жизни вашей произошла коренная перемена». Это – Эмерсон.

Существует богатая *иппическая*, то есть лошадиная (от греческого *Hippos* – лошадь), литература. Лошадям посвящены поэзия и художественная проза, увенчанные строками Гомера, Пиндара и Шекспира, Пушкина, Лермонтова, Блока, произведениями Сервантеса и Свифта, Толстого и Куприна, Голсуорси и Шервуда Андерсона. Есть замечательные повести о лошадях – «Красавец-Вороной» Энн Сиуэлл, «Мустанг-иноходец» Э. Сетон-Томпсона, «Дымка» Вилы Джемса, «Внук Тальони» Петра Ширяева, «Браслет 2-й» («Декрет 2-й» в 1-м изд.) В. А. Брандта, «Чубарый» Ольги Перовской. Кто из читателей моего поколения не помнит, какую популярность завоевала повесть «Прощай, Гульсары» Чингиза Айтматова? А как сейчас зачитываются «скаковыми» детективами Дика Френсиса!

В различных наставлениях от «Гиппики и Гиппарха» Ксенофонта до «Основ выездки и езды» (1890) Джемса Филлиса, от «Правил езды» (1842) Сергея Шишкина до новейших пособий и многотомной «Книги о лошади» под редакцией маршала С. М. Буденного – отсюда всякий интересующийся почерпнет полные специальные сведения и практические советы.

Вернусь к мастерам, которых мне посчастливилось знать и слушать. То были мастера-коневоды, мастера-наездники, опытные конюхи и кузнецы, знатоки породы-иппологи, а также профессора литературы, терпимо относившиеся к моему увлечению. Один из них, не только ученый, но и поэт, Илья Николаевич Голенищев-Кутузов, удостоил меня мадригалом, в котором есть, однако, строки с намеком:

*Торгуйте лошадьми, Димитрий, милый друг,
Не продавайте лишь Пегаса...*

Написано это было, когда, задерживаясь на конюшне, я запаздывал со сдачей статьи об английских романтиках. Облик моих старших друзей и наставников с годами в моей памяти

становится яснее. Для меня они не ушли. И потому я не меняю того, что однажды о них написал, словно я только что увиделся с ними.

* * *

Пусть давно на покое, но здравствует Асигрит Иванович Тюляев, не только тренер лошадей, но и наставник наездников, у него прошли выучку наши лучшие мастера. О нем мало сказать – знаток, это фанатик лошадчества, если воспользоваться словом, образованным по аналогии с человечеством. Сам он о себе говорит так: «Когда я слушаю хорошую музыку и хороших певцов, мне кажется, будто я нахожусь среди лошадей».

Тюляев мне однажды написал: «Вся моя жизнь прошла с лошадьми, ипподромами, городскими и заводскими, и за всю жизнь ни одного раза не имел дело с тотализатором. Так же, как не играл в карты. Ни времени на это ни было, ни желания. Быть может, это отголоски «толстовства» молодости моей. В основу нашего воспитания вошли опера и балет Большого театра, а также Художественный театр. «Три сестры» и Вершинин-Станиславский остались в моей жизни навсегда. Помню и тишину зрительного зала, и слезы зрителей, и восторги курсисток».

Тюляев – человек высококультурный, если слово «культура» понимать широко, охватывая не только образованность, но и самый образ жизни, а в каждом образе жизни, известно, все переплетено органически, как в почве. «В школе наездников я преподавал одиннадцать лет и в школе тренеров – шесть, – продолжает он рассказывать о себе. – Из-за войны школа в Хреновом закрылась, тогда Калантар, хороший человек, верный товарищ, перевел меня в Деркульскую школу жокеев, где я был семь лет. Ушел из школы из-за того, что заболел эпилепсией, которая появилась у меня благодаря (так – Д. У.) ссылке в Мордовию моей жены, первой русской беговой наездницы, Веры Владимировны Костенской».

С Костенской я был знаком только через переписку и не считал возможным спросить, как и за что она была сослана. Но из опыта общения с конниками, на долю которых выпала та же горестная судьба, я могу, мне кажется, назвать основную причину – зависть и конкуренция, а уж под эту борьбу интересов личных подводились политические мотивы.

«Если бы подробно описать жизнь бегового мира того времени, – заключает Тюляев краткий очерк своей супружеской истории, – начала века, со слов моей жены, и ту среду, в которой она вращалась, то получилась бы книга весьма интересная для любителей бегового дела. Ведь В. В. была знакома с закулисной жизнью конюшен, а от знания закулисной жизни зависит очень и очень многое, эта жизнь, скрытая от глаз, интересна и поучительна, она выражает действительность, о которой часто не упоминают или не придают ей значения – по незнанию».

Закулисная жизнь конюшни отражена Эртелем в «Гардениных». Закулисная интрига и просто-напросто мошенничество – на это есть намеки и в купринском «Изумруде». О пьесе «из жизни русских извозчиков» услышал я в Нью-Йорке. Возница, стоявший со своим экипажем у Центрального Парка, мне так и сказал: «У нас сейчас большим успехом на Бродвее пользуется пьеса из жизни русских извозчиков». Сказал, да ещё уточнил: «Середины девятнадцатого века». Сразу я не мог понять, что за кучер, говорящий некучерским языком, и что за пьеса о русских извозчиках. Потом понял, что речь шла об инсценировке «Холстомера»: повтор ленинградской постановки, сделанной режиссером Товстоноговым по сценарию моего школьного соученика Марка Розовского. Перед началом репетиций Товстоногов мне позвонил по телефону, чтобы сказать, что ему будет нужна моя консультация. Однако больше звонков не было и консультации, видимо, не потребовалось, а я ждал-ждал и в результате постановки так и не видел. Не видел и в Нью-Йорке – билеты слишком дорогие. Но успех постановки могу засвидетельствовать – реклама с лошадиной головой сияла на

Таймс-Сквере на протяжении всей моей научной командировки, и всё время – аншлаг. Жизнь русских извозчиков, судя по всему, вызывала у американцев большой интерес. А извозчик американский оказался аспирантом Колумбийского университета – подрабатывал. Разумеется, взгляд на конный мир со стороны конюшни дает материал необъятный именно в силу той многосторонней связи, от которой, как говорит Тюляев, «зависит очень и очень многое». А скольких людей – и каких людей! – довелось повидать возле лошадей! Ветвистая связь конюшенного быта с жизнью за пределами конюшни, это, по крайней мере для меня, самое интересное.

Вот Асигрит Иваныч прочитал рассказ Куприна «Рыжие, вороные, серые, гнедые», записанный со слов наездника Черкасова, и мысль его тут же уносится далеко, охватывая и фигуру наездника, и быт того времени: «Николай Кузьмич Черкасов давно уехал в Париж, и наши наездники, выступавшие во Франции, с ним встречались: сильно постарел и на призывы больше не ездит. Что касается его наезднических способностей, то ездил он хорошо. Служил у Бенкендорфа и больше выступал в Петербурге, приезжал и в Москву. У него был камзол голубой и белый картуз. Со старта обычно не вел – берег для финиша. Помню, все говорил: «Лучше проиграю, а не поведу». В езде у него находилась очень хорошая кобыла Тропа, завода Телегина, краткое происхождение которой приведу ниже. А покойный Н. В. Телегин был одним из самых талантливых русских коннозаводчиков. Скончался он в 1917 году в период упадка нашего дела. На тот год Московским Беговым Обществом было назначено к розыгрышу много очень крупных, так называемых «подписных» призов: любой заводчик записывал на них свой молодняк заранее, задолго до выступления. В семнадцатом году Общество осталось без средств. В связи с этим пришлось поднять вопрос об отмене подписных призов, а с отменой их рушились все надежды замечательного коннозаводчика. Известно, что представляли собой телегинские лошади! Его производитель Барон-Роджерс давал выдающийся приплод, в особенности от голицынских маток. К началу упадка бегового дела у Телегина в заводе собралось много способного молодняка, и никому из коннозаводчиков не было так обидно лишиться возможности записать его на подписные призы. На собрании Общества Н. В. горячо отстаивал необходимость сохранения подписных призов, от волнения ему сделалось нехорошо, и на другой день его не стало».

А что за энтузиаст был Тюляев, скажет такой случай. Однажды в ответ на мою очередную заметку пришло от него письмо. В конверте лежало десять рублей: читал и, если нравилось, присылал десятку – из пенсии. На этот раз одобрение выражалось не только деньгами. Тюляев сообщал, что, прочитавши мой текст, он от восторга лишился чувств. Не слогом моим старик оказался сражен. Слог как раз подвергся уничтожающей критике со стороны моего отца, профессора редактирования, и я, защищаясь, показал ему тюляевское письмо, но это не помогло, отец сказал: «Не понимаю, что тут особенного».

Из рук отца получил я шедевры иппической литературы, он сводил впервые меня на ипподром, а мать, художница, оформляя на ВДНХ Павильон Садоводства, рассказывала, какие рядом с ними в Павильоне Коневодства лошади, и сама же брала меня с собой их посмотреть. Однако опасаясь падений, увечий, дурных влияний, родители старались вытравить у меня то самое пристрастие к лошадям, которое они же и поддерживали. Последователь в поддержке был только дядя-физик. Авторитет в своей области, электронной микроскопии, он, обладая прекрасным тенором и хорошим чувством юмора, всю жизнь боролся с искушением бросить физику и пойти на оперную сцену или – в журнал «Крокодил». Трудность выбора осложнялась тем, что он внес существенный вклад в науку и создал первый у нас в стране электронный микроскоп. Моим родителям он говорил: «Оставьте его в покое с его лошадьми! Придет время, он станет о них писать», и настрочил куплеты с рефреном: «Мити нет дома – пасет лошадей».

К иппическим писаниям родители подходили как читатели-неспециалисты и некоторых оттенков не различали. Что ж так поразило Тюляева? Секунды Грейхаунда! И не на всю дистанцию – рекорды «серого феномена», все до одного, Асигрит Иванович перечислит, даже если его разбудить ночью. Он все до мелочей знал и без меня, но заметка была рефератом только что вышедшей в Америке книги, там оказались обнародованы некоторые даже знатокам неизвестные подробности, и вот, когда он прочитал (так говорилось в тюляевском письме), как на прикидке Грейхаунд сделал последнюю четверть в двадцать семь секунд, стало быть, с резвостью, какой никогда, с тех пор как раздается стук копыт о беговую дорожку, не показывал никто ни до, ни после, тут у него перед очами души возникла эта невероятная картина и... и... Тюляев писал, что он, читая, пережил: кому случалось видеть классный финиш, тот знает, как подкатывает к горлу комок и перехватывает дыхание.

Так вот, сам Тюляев подарил мне книгу «Беседы на конюшне». Это реликвия. Книга переходила от наездника к наезднику, причем каждый ставил на ней свое имя. Первым расписался Кейтон, последним сам Асигрит Иванович. Книга стала принадлежать мне, но я, конечно, не мог продолжить исторический список. Без своей подписи передал я книгу в «Содружество рысистого коневодства России». Пусть появятся в списке достойные имена мастеров. А я постараюсь наследовать дух спорта, который в «Беседах на конюшне» содержится.

Что писал я о лошадях, то, оказывая мне честь, подвергали беспощадно-благожелательной критике специалисты, такие, как В. О. Липпинг и Ю. М. Оленев. По мере своих сил следуя шекспировскому завету «Не печалить знатока», замеченные ими ошибки исправлял, но замечания их подчас были чересчур специальные, исправишь – озадачишь читателя, для которого я писал: неспециалист просто не поймет, о чем идет речь. Насколько Владимир Оскарович и Юрий Михайлович были требовательны, когда дело касалось лошадей, можно судить, если учесть, что не давали они спуска ни Шекспиру, ни Толстому.

Однажды обескураженный оленевским разгромом, я пробовал защищаться: «Ведь даже в у Куприна в рассказе...» «Рассказ плохой!» – парировал Оленев. Ах, рассказ «Изумруд» плохой? Тут моя авторская совесть и успокоилась.

Волшебный мир

«...Устав наездника читал».

А. С. Пушкин



«Мир галопа – волшебный мир!» – внушал Тюляев. Он говорил: «Приведу пример, чтобы показать, каково это!» Ипподром, утренняя проездка, трава блестит, и по сверкающему кругу во всех направлениях чеканно отстукивают копыта – галопом, рысью, шагом – на разных аллюрах, но, соблюдая некий общий ритм, движутся рыжие, гнедые, вороные. Таков был рассказ, который кончался слезами. Не в силах был сдержать слез Асигрит Иванович тогда, на скаковой дорожке, наблюдая за посадкой жокеев, за дрожанием хлыста, за кончиком хлыста, за движением каждой лошади, «выражением лица лошади». Слезы звучали в его голосе всякий раз, когда хотел он убедить в одном: «Мир галопа – волшебный мир!»

Слезы старого тренера поблескивают мне с тех пор, когда еду я по росе или после дождя и лошадь, обмывая копыта, чиркает по влажной траве. И всегда стучит мысль: «Волшебный мир! Необычайные люди возле лошадей».

Всякий настоящий спортсмен – энтузиаст своего спорта. И все-таки энтузиазм конников, их привязанность к своему делу совершенно особые. Конник наживо и намертво соединен с конем. Можно отложить на время мяч, снять боксерские перчатки, велосипед не просит ни пищи, ни воды. Лошадь же, как ребенок, требует непрерывного ухода. В самом деле, словно дитя у матери, лошадь занимает мысли наездника или жокея, особенно классная

лошадь, гордость и надежда всей конюшни – «крэк», что буквально значит «хлопок хлыста» от английского crack: только взмахнуть хлыстом достаточно, чтобы классный скакун ответил на посыл. Сигнал, подаваемый лошади, по смыслу слова, уравнился с лошадьё: крэк значит класс.

Рассказывают про пушкинского современника С. П. Жихарева, автора замечательных «Записок», одного из ранних организаторов скачек в Москве. Имелась у него чистокровная кобыла Волуна, не знавшая поражений. Родился от нее жеребенок, прозванный Мемнон Волунин и показавший еще больший класс. Жихарев находился на вершинах счастья. И вдруг бесценный Мемнон пал. В тот же год болезнь унесла у Жихарева маленького сына. Когда ему соболезновали о мальчике, он, закрывая лицо руками, восклицал в горести: «Ах, не говорите! Вот и Мемнона Волунина больше нет!»

«Уж это слишком!» – говорили тогда и скажут теперь...

В жихаревском экстазе чувствуется оттенок любительства. Едва уловимый оттенок, отличающий его преданность лошадям от профессионального отношения. Вспоминая конников, каких мне посчастливилось знать, знать годами, изо дня в день, сказал бы я – они любили лошадей? Призовые наездники Грошев и Щельцын, Гриценко и Гречкин, заводские тренеры Панков и Козлов, жокеи братья Лакс, Кочиашвили, Назаров, Насибов, конкурсты Гриднев, Лилов, Фаворский – они бы, я думаю, удивились, если спросить, любят ли они лошадей. «Нет, это не любовь», как у Шекспира говорится. Любит ли охотник свою собаку? У Тургенева, Толстого, а также Джека Лондона дан на это ответ: охотником движет особое чувство, собака для него не предмет обожания, а средство существования, иначе говоря, жизнь. Так и отношение наездника к лошади. Все равно, что всякому из нас задать вопрос: «Какую из своих двух ног (или рук) вы предпочитаете, правую или левую? А для конских охотников, каким был Жихарев, лошади – это всё же потеха, хотя и посвящался потехе не один час. Профессионалы, если уж чувства свои выражают, то как Вера Владимировна Костенская. Она говорила: «С лошадьми жили, с лошадьми и помрем». Красноречивое описание привязанности к лошади получил я из Лабинского конзавода Краснодарского края, писала тренер и зоотехник Колгомогорова, цитирую: «Настоящая, одна-единственная на всю жизнь, любовь еще никого не сделала ни богатым, ни счастливым, но ведь такая любовь дается не каждому». Почему же не каждому? И что это за любовь? «Надо пройти все круги рая и ада конной работы от конмальчика до тренера, от конюха, табунщика до начкона. Лошадь надо знать от маточного табуна до заездки и – до букетов на Дерби, от стипль-чезных прыжков до конкурного и скакового посыла, наконец, нужно знание тайн сложить – «сжудничать» – скачку так, чтобы не оказаться отлупленной тотошниками и оштрафованной в судейской».

И такое признание: «Мне 38 лет, и в этом возрасте уже надо отдавать отчет своим поступкам. На ипподроме никто или, вернее, почти никто не сомневается, что я смогу ездить, но... Понимаю людей, говоривших это «но», потому что они не видели меня в деле. Алексей Еремин (наездник – Д. У.) не сказал бы «но», он видел меня в работе и, по его словам, ему не на что было жаловаться. Я ремонтировал качалки, раздавал корм лошадям, разгружал с другими помощниками пришедший фураж, заваривал кашу из отрубей...» Ну и что? Кашу заваривал! Качалки ремонтировать, корм раздавать, мешки с овсом и тюки сена таскать – кто же этого на конюшне не делает? Вопрос, кто в данном случае выполнял обычные конюшненные обязанности: безногий. Алеху Еремина я хорошо знал, он мне письмо это от слова до слова подтвердил.

«Любишь кататься – люби и саночки возить» – в отношении лошадей это надо понимать так: забота о лошади лежит вечным грузом на сознании наездника. У Александра Федоровича Шельцина и других мастеров я увидел нераздельную слитность с лошадьё, поглощенность заботами тренинга и конюшни. Однако не помню в обращении мастеров с

лошадьми ни одного момента сентиментальности. Чтобы мастер подошел и по плечу похлопал или за ухом почесал своего крэка – лучшего у него на конюшне призового бойца? Да никогда! Словом, нельзя о конниках сказать то, что выражено старинным афоризмом: «Чем больше узнаешь людей, тем больше любишь животных». Нет, лошадь не вытесняет людей, но поглощает человека, с ней связанного, целиком. Даже не помню, чтобы с тем же Щельцыным или еще одним мастером – Грошевым мы когда-нибудь говорили о чем-нибудь, кроме лошадей. Маркс называет эту истовость «профессиональным идиотизмом», вот этот крайний, с одержимостью граничащий, всепоглощающий, всеведущий, совершенный профессионализм нашел я не где-нибудь ещё, а именно у конников и на конюшне.

Своему научному руководителю, профессору литературы Р. М. Самарину, я так и ляпнул, когда он добивался от меня, зачем я стремлюсь на конюшню вместо того чтобы сидеть на лекциях. Конечно, по бестактности, свойственной молодости, обидел его. «Лучше бы курсовую как следует написали», – нахмурился «Роман», обращавшийся к нам, студентам, исключительно на «Вы» и по имени-отчеству. «А кто позволит мне изложить все мои мысли?» – возразил мой внутренний голос. Университетские наши наставники, во всяком случае некоторые из них, обладали наивысшей квалификацией, они, так сказать, «знали все», однако запреты и ограничения не давали им научить нас многому из того, что они знали, и нас они тоже окорачивали, вот и приходилось искать образцы профессионализма не у энциклопедически образованного Романа Михайловича Самарина, а, скажем, у Николая Романовича Семичова, одного из несравненных мастеров призовой езды.

* * *

Условие профессионализма – самопожертвование. Вот сам за себя говорящий случай. Это произошло некогда в день Мельбурнского Кубка – национального приза Австралии.

Фар-Лэп, величайший из австралийских скакунов, был записан на Мельбурнский приз. Конюх вел его в тот день после утренней проездки на конюшню. Конюх ехал верхом на небольшой серенькой лошадке, а рыжий гигант шагал рядом в поводу. От ипподрома до конюшни надо было миновать несколько улиц. Впрочем, Фар-Лэп отличался спокойным нравом и маленькая процессия мирно следовала своим путем.

Странная, однако, машина встретила их по дороге: люди, сидевшие в ней, слишком уж пристально наблюдали за Фар-Лэпом. Чтобы разминуться с подозрительными попутчиками, конюх свернул в первый же переулок. Конюх не зря беспокоился: автомобиль не отстал от них. Преследование продолжалось. И конюх, и Фар-Лэп, и серый маштачок (малорослый) оказались в тупике, припертые машиной.

Однако перед теми, кто управлял роковым автомобилем, также встала неожиданная преграда: человек, как мог, закрыл своим телом лошадь, а серый был поставлен впереди Фар-Лэпа, готовый пожертвовать своим простым существованием ради прославленного соконюшеника. Фар-Лэп был огромен. Человек и ездовой конек с трудом загоразивали его.

Бандит за рулем принялся отчаянно сигналить, надеясь гудком вспугнуть Фар-Лэпа, чтобы тот бросился в сторону и открыл себя. Это почти удалось. Конь пробовал встать на дыбы. Конюх едва удержал его, все так же заслоняя собой скакуна. Грянул выстрел. Мимо. Машина стремительно исчезла.

В тот день Фар-Лэп без труда оставил всех соперников далеко позади. Фаворита, а потом триумфатора по дороге на ипподром и обратно охранял отряд полиции. Мотоциклы сопровождали все ту же группу: на серенькой лошадке едет не спеша человек, и рядом шагает под попоной рыжий гигант.

«Всю жизнь я отдал на благо лошадей», – говорил один наш конник-ветеран, и он имел душевное право на такие слова.

Привязанность к лошади и по долгу службы, и по зову сердца развивает у конников своего рода поэзию, философию, особый конюшенный фольклор. Предания о былом хорошо сохраняются на конюшне. Всякий скажет, кто и когда особенно удачно проехал, как выиграл, каким норовом отличался у этого жеребенка прапрадед и до чего резва была его мать, но вот бабка с отцовской стороны... Все, все помнится, и не потому, что забавно. Память о прошлом для конника – это понимание породы, знание лошади.

В редкой книге «Беседы на конюшне» утверждается: «У всякой призовой лошади должна быть своя история, повесть о жизни и подвигах. Без истории, без подвигов, о которых было бы как следует рассказано, лошадь не имеет истинной полноты своего значения». А на всякие истории у конников, разумеется, глубокая память.

От древних колесниц и рыцарских турниров до современных бегов, скачек, стипль-чезов и прыжков через препятствия развилось, частью исчезло или, напротив, возникло и видоизменилось множество форм конских состязаний. Состязания сегодня являлись вчера, в прошлом, серьезными занятиями, необходимыми в повседневной жизни. На фигуры Венской школы верховой езды ныне смотрят, будто на балет, а когда-то те же лансады (прыжки) служили приемами боя. Изобретение стремян, пришедших, как считается, с Алтая, преобразовало верховую езду, кавалерию, армию и, в конечно счете, изменило ход истории.

Неустойчивы сведения относительно того, сел ли человек сначала на лошадь верхом или он приучил ее прежде к упряжи и повозке. На Украине около села Дериевка, недалеко от Кировограда, был откопан конский скелет, признанный древнейшими останками одомашненной лошади. Совершивший это открытие археолог Д. Я. Телегин полагает, что на ней ездили верхом, однако, не все даже признающие значение его находки с ним согласны. Что можно сказать? Гонки колесниц в античной Греции и Древнем Риме, то есть прообраз современных рысистых испытаний, вошли в традицию как спорт, должно быть, раньше скачек. Потом эволюция экипажей как-то замедлилась. Для шекспировских времен, например, кареты были новшеством. Все, в том числе женщины и дети, передвигались тогда в Европе верхом.

Каков конный спорт и в чем его суть, можно узнать за неделю, когда проводится у нас праздник конников, то есть парад и показ всех пород, всех видов конных состязаний и национальных конных игр из всех республик. Каждый год этот праздник устраивается в городе, где есть для этого подходящий ипподром. Парад, начинающий праздник, разворачивается панорамой всей истории конного спорта. В национальных одеждах, по командам проходят конники перед зрителями. Оживают герои народных преданий или же исторические деятели, чей путь был связан с боевым конем.

У греков есть Буцефал, конь Александра Македонского; Бабиека воспет испанцами вместе с его хозяином – Сидом, а у французов эпическая «Песнь о Роланде» – это и песнь о коне по кличке Вельянтиф – Зоркий Малыш, который, хотя и некрупен, зато без усталости служит героическому воину; южные славяне помнят коня, на котором ездил богатырь Марко; а вот и наш Бурушка-косматый, носивший Илью Муромца.

* * *

Прочитав этот абзац, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев прислал мне письмо, в котором говорилось: «Вспомните замечательный рассказ из Ипатьевской летописи – как смертельно раненный конь Андрея Боголюбского вынес князя с поля битвы, и как Андрей Боголюбский с почестями похоронил коня. Есть и другие хорошие места в летописи. Например, рассказ о смерти Олега от своего коня, подтверждающий, что значил конь для князя». Дмитрий Сергеевич имел в виду, разумеется, эпизод, воплощенный Пушкиным в балладе «Песнь о вещем Олеге». Лучше кого бы то ни было академик знал, что исторически этот

эпизод не подтверждается, но – выражает, как Лихачев и написал, «значение коня». «А князем, – продолжал ученый, – становились после «посага», то есть после того, как восьмилетнего мальчика сажали на коня. Это обряд вокняжения, получения княжеского достоинства. А символы – стремя («ездить возле стремени») – означало нести вассальную службу, «вдеть ногу в стремя» – выступить в поход, «пересесть из седла золотого, княжеского, в седло кашея» – стать пленником... А кони на иконах – сказка! А в сказках у коней, как в мире людей, есть свой Иванушка-дурачок, сивка-бурка, конёк-горбунок. Это возвышает коня». И ученый заключал: «Я давно высказывал идею, что из наших городов с исчезновением лошадей ушел большой нравственный мир. Лошади воспитывают людей!»

* * *

Едут былинные богатыри, «едут-то по полю герои»: Богдан Хмельницкий или же Салават Юлаев и, конечно, Чапаев с Петькой и Анкой-пулеметчицей.

Следом за парадом – соревнования: рысаки, скакуны, выездка, тройки, тачанки, преодоление препятствий и, наконец, конные игры, веками живущие в быту народов нашей страны. Тут и борьба на лошадях, и човган-бурти (вид конного поло), и схватка двух команд за тушу козла (козлодрание – копк-хари), и «отними папаху», и «поцелуй девушку», и многое другое.

«Эх, тачанка-ростовчанка...», «Вот мчится тройка...» Что поется, говорится и вообще помнится о лошади, возникает перед глазами. Кажется, только поется и помнится, а потому, как всякое предание, похоже на сказку. Но тут вдруг феерический мир, состоящий будто бы из одних заправских, однако нереальных слов – «покройте попоной», «под уздцы отведите», «конь ударил, закусил мундштук», «грива ветра» – раскрывается с достоверностью. И благодаря этому все остальное, легендарное, с конем связанное, приобретает материальность.

В истории нашей родины конница действует с незапамятных пор. «Пойде Олег на конех и на кораблех», – сказано в Несторовой летописи о походе князя Киевского на Царьград. Конюший был главнейшим боярином в государстве. Первый конный завод возник в России под Москвой в Хорошеве на исходе XV столетия.

Слово «завод», теперь к лошадям применяемое с оговоркой, с иронией, на самом деле от лошадей пошло. «Завод» когда-то и значило лишь – «конное заведение». Иных заводов не было. Так получилось со многими сугубо конными понятиями. Каков смысл слова «ремонт»? Изначально один: от французского «ре-монт», то есть пересаживаться на новых лошадях – обновлять конский состав кавалерии. Раньше ремонтировались только кавалерийские части, а теперь и часы, и ботинки, и вообще все на свете. Так же говорится «закинулся», «съехал с круга», «остался за флагом» без мысли о том, что это из конюшенного, ипподромного жаргона. «Положение хуже губернаторского» – от верных людей слышал следующее. «Губернатором» коневоды называли жеребца-пробника – должность на конном заводе важная, да незавидная. Согласно инструкции, пробник, проверяющий готовность кобыл к случке, должен быть видный собой, темпераментный и даже нахальный кавалер, но к самой случке его не допускают – вот оно, положение-то!

«Врет как сивый мерин» или «бред сивой кобылы» – у лошадей «сивый» не седой, а с проседью, и не обязательно старый. Зато, употребляя антропоморфизм, приписывая людские свойства животным, седовласых стариков нередко обзывают, по вполне понятным физиологическим причинам, меринами, и память старикам и старушкам часто изменяет. Поэтому в переводе на человеческий язык «вранье сивого мерина» – старческий маразм. А каково происхождение всем нам хорошо известного, имеющего символический смысл, имени Обломов? Обломы – это ведь неучи, молодые, еще необъезженные лошади, над которыми надо немало поработать, «обломать» их, прежде чем они правильно пойдут в оглоблях

и влягут, как следует, в хомут. Иначе говоря, станут трудиться, чего Илья Ильич Обломов, как известно, почитал занятием его самого недостойным.

Реформы Петра и преобразования екатерининского времени дали основу племенному коневодству, а затем и конским испытаниям. Алексей Григорьевич Орлов, выдающийся деятель, создал сначала отечественную верховую породу, потом – рысистую; он проводил бега и скачки. Его дело возникло под Москвой в селе Острове, и об этом, представьте, местные жители помнят.

«Сюда приводили орловского рысака», – вот что я там услышал. Конечно, народная память – не история, в ней сохраняется суть далеких событий, но последовательность и связь тех же событий оказывается, как правило, преображена и даже вовсе искажена. В Остров привели не орловского рысака, туда был доставлен арабский жеребец Сметанный, он и дал начало рысистой породе, получившей название орловской.

Село стоит на высоком берегу реки – красота! Уж не знаю, можно ли сделать такой вывод, но все наши старинные конные хозяйства, которые мне посчастливилось повидать, – это произведения человеческого искусства, по законам эстетики соединенные с окружающей природой. «Так красиво, что становится грустно», – говорил знаменитый мхатовский актер Борис Ливанов, у которого дача на берегу Москвы-реки по другую сторону от Московского конного завода. Что это ему грустно? А нельзя, согласно выдающемуся артисту, оставаться творчески бездейственным при виде такой красоты, однако, нужно быть, по меньшей мере, Шалапиным, считал он, чтобы ее воспеть!

Время отчасти пощадило Остров: еще видна по-над берегом проложенная прямая, на которой «меряли» рысаков. Уцелела и поистине царственная конюшня, правда, коренным образом изменившая свое назначение: не кони в ней стоят, а нашли там приют одинокие старички и старушки. Это здесь разыгралась трагедия, о которой до нашего времени тоже дошло предание, иначе говоря, не все, быть может, в точности так оно было, но вот что я услышал от старого конника.

Бесценный производитель Сметанный, в просторечии называемый Сметанкой, как-то вернулся с поездки: заводских жеребцов держат в должных кондициях, легкой работой поддерживают в них бойцовский дух. Сметанка вернулся разгоряченным, в поту, поставил его конюх в денник, поставил и – отвлекся: пришла повидаться с ним его зазноба.

Разговорились – заговорились. А дверь денника оставалась открытой: конюх собирався, как положено, глоток, один только глоток воды жеребцу дать, чтобы слегка освежить его, и ведро с водой приготовил. А Сметанка за спиной у забывшего себя, потерявшего голову конюха и напился вволю. Опой – не имевший цены жеребец погиб. Доложили Орлову. Граф будто бы сначала подумал вслух: «Запороть?» А потом махнул рукой, и отправили того конюха с глаз долой в дальнюю деревню.

Со временем графское заводское дело было перенесено в Хреновое Воронежской губернии, где, как считают знатоки, сам Орлов, возможно, и не успел побывать. Те степные края в нашей классике, словно на старте и финише, запечатлены Пушкиным и Чеховым. Там начал действовать завод, который после смерти графа стал государственным и сохраняет свое значение и славу до сих пор. Каждый конь, что стоит в этом заводе, обладает редкостной родословной, она колено за коленом восходит к эпическим временам и именам, увенчанным кличками Барса и Сметанки – основоположникам всей орловской рысистой породы.

В пушкинскую эпоху, в 20–30-х годах XIX столетия, рысистые лошади завоевывают всеобщее признание. «Скажу, рысак! – писал наш величайший поэт. – Парнасский иноходец его не обогнал бы». По различным городам России организуются Общества любителей конского бега. Первое возникло в Лебедяни Тамбовской губернии, прославившейся конскими ярмарками, которые были описаны Тургеневым, а создатель «Записок охотника» признавал: «Всякий охотник до ружья и до собаки – страстный почитатель благороднейшего животного

в мире: лошади». Набережная Москвы-реки, село Покровское, Старая Басманная, потом Шаболовка, Донское поле и, наконец, Ходынское – такова историческая география развития конской охоты, бегов и скачек в Москве, где постоянно действующий ипподром существует с 1834 года. Герцен был в числе первых посетителей Московского ипподрома: 20 июля 1834 года он отправился на скачки, и на всю жизнь запал ему в память этот день, резвые лошади.

Если бросить взгляд на Москву с конноспортивной точки зрения, что за имена совместятся! Вот Президиум Академии Наук – вместе со всеми своими подотделами разместился в не знающих сноса постройках, воздвигнутых тем же Орловым для своих лошадей. Иностранный Отдел, связывающий наших ученых со всем миром, – в конюшне. Минералогический музей – это бывший манеж. А вот прежнее Управление коннозаводства (теперь Институт мировой литературы Академии наук), здесь жила дочь Пушкина – жена начальника управления, подсказавшая Толстому своим обликом Анну Каренину. Толстой же, когда бывал в Москве, ходил смотреть офицерскую езду в Хамовники, где одним из манежей пользуются по назначению до сих пор.

Да вот же они, армейские конники, давно уже сохраняющие за собой славу сильнейших... Спортивный парад соединяет далекие времена: конный спорт глубоко традиционный и вместе с тем современный, развивающийся. Он является коренным, народным, национальным. Одна из насущных и древнейших сторон хозяйственной, культурной, военной деятельности человека, которая на время стала развлечением, игрой, – вот что такое конный спорт.

С давних пор наши конники вышли на мировую арену. В 1867 году на выставке в Париже всех поразил вороной орловский рысак Бедуин; в руках Ефима Иванова он оказался по секундам резвее американской рекордистки Флоры-Темплъ. В Лондоне блистал Ветер Буйный, в Чикаго – Кречет. Малютинский Лель побил Фляинг-Флеша, и великий Крепыш сражался в начале нашего века с американскими резваками.

В 1912 году объявили у нас скаковой верховой Международный приз. Откликнулись французы. Всем любопытно было, что они покажут. Тогда повсюду в России отмечали столетнюю память войны 1812 года, и хотелось еще раз померяться силами с французами. Пусть не на поле битвы, а на дорожке ипподрома. Приехал из Парижа Бара, знаменитый ездок. Записано было одиннадцать лошадей. Две наши лошади шли от одной конюшни – Мамур и Зейтун. На гнедом Зейтуне сидел Платон Головкин. Ему отведена была роль от начала и до конца вести скачку, выматывая силы соперников. А Мамур, ожидали, бросится вперед на финише. Со старта так и вышло. Головкин взял голову скачки и повел. Однако Бара был слишком опытен, чтобы поддаться на это. Он не принял вызова и держался последним. И только при входе в финишный поворот «поехал».

Одним движением Бара оставил позади девять лошадей, будто их и не было на дорожке. Ни Шемснур, ни Шантеклер, ни Грымза, ни одна из наших знаменитостей того времени, и Мамур в том числе, не могли оказать французскому жеребцу Линуа под Бара заметного сопротивления. Впереди один Зейтун, уже притупевший, потому что он вынес на себе всю резвость скачки. Француз расчетливо настигал его. Да ведь Зейтун и не предназначался для финальной схватки. Но у Головкина был «железный посыл», единственное, чего не учел Бара. Заработали хлысты. Головкин выдержал бешеный натиск и на полголовы вырвал триумфальную победу.

Тот же Платон Головкин в 1922 году, уже в новую эпоху, выиграл на Беке первый Приз Республики. Успешную гастрольную поездку по ипподромам Берлина, Кельна, Гамбурга совершили несколько лет спустя советские рысаки, среди которых особенно выделялся феноменальный Петушок. Сын Трепета и Прелести обыграл европейских знаменитостей в руках Петра Ситникова, одного из лучших наездников дореволюционного ипподрома.

Когда во время Гражданской войны погиб Крепыш – «король русских рысаков», то многие восприняли это как роковое знамение, возвестившее закат былой славы конного

дела у нас. Нет, преемственность не нарушилась. Ее сохранили ветераны, она передалась по наследству от наездников-отцов к детям, и новые люди, пришедшие в ногу с новой эпохой на ипподром, учились у «стариков».

Мастеру-наезднику Александру Федоровичу Щельцыну, тогда молодому человеку, новичку, только взявшемуся за вожжи, поспешили предложить место тренера и возможность руководить.

– Нет, – отвечал он, – отправьте меня конюхом к настоящему мастеру.

И спустя несколько лет из конюшни опытного наездника вышел образцовый знаток своего дела. Тогда только Щельцын считал возможным в самом деле руководить, но и тут его честолюбие подверглось искушению.

– Завтра, – сообщили ему, – к вам поступит работать помощником Андрей Васильевич Константинов.

– Нет! Нет! – закричал в ответ Щельцын, ибо надо представить себе положение рядового оркестранта, которому говорят: «Берите дирижерскую палочку, а в барабан будет бить Артуро Тосканини».

Константинов был, пожалуй, самым прославленным среди русских наездников, однако с возрастом он переживал полосу непрерывных неудач, и пришлось у него отбирать конюшню. Константинов сам попросил молодого тренера:

– Возьми меня. Легче мне работать под началом у тебя, чем идти к своему сверстнику, видевшему мою славу.

Щельцын собрал свой конюшенный штат и сказал всем:

– У нас будет работать Андрей Васильевич. Я требую, чтобы он чувствовал себя на конюшне главным.

И действительно, пришел маленький усатый старичок, на которого молодые наездники и конюхи смотрели во все глаза, а пожилые старались вовсе не смотреть: славу легендарного «Андрея Васильевича» и его внезапное нынешнее положение нельзя было совместить.

– Ездить ему, в самом деле, было уже трудно, – вспоминал Щельцын, – но в лечении и купании лошадей он по-прежнему действовал как маг. Во фрачной паре, в крахмальной сорочке являлся он на конюшню с набором инструментов и осматривал лошадям зубы. На всю жизнь почерпнул я у него навыки, выручавшие меня в борьбе с бедами, болями, хромотой, утомлением мускулатуры, со всем, что представляет для наездника столько трудностей.

Так сформировался конник-специалист нового склада, получивший со временем прозвище «профессор» за совершенное знание лошади и езды. Мне посчастливилось у него ездить. Когда прибыли мы с ним на гастроли на провинциальный ипподром, то к нему, будто, в самом деле некоему светилу, выстроилась целая очередь молодых наездников: «Прошупайте у этого серого плечо... Посмотрите левую переднюю... Посоветуйте, пожалуйста, когда сделать резвую...»

Что собой представляет щельцынская экспертиза, соединяющая богатейший опыт с полнейшей самоотдачей, позвольте пояснить лишь на одном примере. Подобных примеров можно было бы привести сколько угодно, скажу лишь об одном, который, надо сознаться, сильно подействовал на меня в ту пору, когда я только начинал внедряться в конный мир.

Эпизод, который я хочу вспомнить, едва не шокировал меня, тогда мне показалось, что уж это что называется чересчур.

Если моряку, чтобы твердо стоять на ногах, нужна зыбкая палуба, то наездник не чувствует себя в своей стихии до тех пор, пока не усядется на беговую качалку. Нужны вожжи в руках, иначе ему неможется и неймется. И меня не удивило, что Щельцын, едва сойдя с поезда (дело было на областном ипподроме в Раменском), тут же велел заложить серого великана Бравого, а меня он посадил на вороного Бельфора, и мы тотчас оказались на дорожке – совершенно безлюдной и безлошадной, работа давно закончилась.

Шагаем – Щельцын вообще предпочитает тихие работы, полагая, что так лучше нарабатывается мускулатура, зато уж на маховой или в призу лошади у него идут охотно и на идеальном ходу.

Итак, шагаем. Вдруг Бравый останавливается, отставляет хвост, расставляет пошире задние ноги – калится. Обычное дело. Но когда жеребец оправился и, было, собрался двинуться дальше, наездник придержал его. Что такое? В чем задержка? Мастер всматривается в кучку конского навоза, нагибается, протягивает руку, берет теплый катыш и начинает разминать-растирать пальцами. В зеленовато-желтоватой кашеце мелькнуло нечто желтовато-беловатое. Глист! Вредный червь, вместе с навозом, был подвергнут внимательнейшему осмотру, столь внимательному, что, казалось, при необходимости взять тот же состав на зуб, он был бы испробован. А когда мы вернулись с поездки на конюшню, конюхам были отданы распоряжения по части лекарств и кормежки. Вот к этому знатоку призового дела и выстраиваются очереди из тоже понимающих в лошадях.

В ту ночь мастер улегся на ночлег на сене возле денника Бравого. Обычно это делается накануне больших призов – из опасений, как бы чего не случилось. Но в тот раз был особый случай, а я, чтобы еще поговорить о лошадях, попросил у Александра Федоровича разрешения остаться там же, на конюшне.

– Что ж, почием на ложе Авраамовом, – сказал наездник.

Почти по Писанию, ведь праотец не на лошадях ездил – на ослах.

* * *

Большое чувство традиции живет в конном мире. Нам не следует забывать и тех русских конников, которые после революции оказались за рубежом.

Не по убеждениям обычно уезжали они, а большей частью в силу обстоятельств – вместе с лошадьми, вместе с владельцами лошадей. Они, однако, не порвали связи с родиной и стояли на высоком уровне. Первый рысак Европы 1930-х годов Масклетон находился в тренинге у прежнего петербургского наездника Александра Борисовича Финна; на нем русский наездник дважды был победителем Приза Америки. Кроме того, Финн основал в Италии школу наездников. Николай Черкасов, собеседник Куприна, открыл в Париже классную общественную призовую конюшню. Павел Родзянко воспитал национальную сборную Ирландии. Подобно тому как английские актеры говорят: «Мы учились у Михаила Чехова», итальянцы следуют в декоративном искусстве Александру Бенуа, американцы сделали президентом своей Академии художеств Николая Фешина, целая эпоха в мировом балете обозначается именами Павловой, Карсавиной, Дягилева, Баланчина, Фокина, подобно тому как в Бирмингемском университете кафедру философии основал Николай Бахтин и поколения студентов Оксфорда, Сорбонны, Гарварда слушали по различным наукам русскую профессию, подобно этому и русские конники стали в мировом масштабе «школой», направлением, традицией.

Вторая мировая война нанесла тяжелейший урон нашему коневодству. Погибли специалисты, пропало ценнейшее конское поголовье. Не вернулись с фронта классные жокеи. Без вести пропал блиставший перед войной на Ростовском ипподроме Чабан-Тутариш. В Киеве фашистами был казнен за «сотрудничество с большевиками» выдающийся русский наездник, несравненный мастер Павел Петрович Беляев 2-й. Вторым Павел Петрович значился по фамильному счету – после своего отца, но был он, по существу, первым из первых, единственным в своем роде. «Держитесь Беляева!» – писал в канун войны из Милана в Москву Александр Борисович Финн, подчеркивая тем самым, что это образец профессионального мастерства и спортивного благородства.

Калечились, гибли во время эвакуации от бескормицы племенные лошади. Захватчики уводили ценнейших производителей, угоняли маточные табуны и целые заводы. И все-таки в этих страшных условиях, даже отдаленного подобия которых не испытало на себе ни одно другое коневодство в мире, наши конники, наш конный спорт продолжал действовать. Тренер-ветеран Григорий Грошев рассказывал: «Молодняк поступал на ипподром с заводов до того ослабленный, что запряг, выехал, а с дорожки в руках ведешь и не знаешь, как довести...» Однако, хотя бы и в эвакуации, бега не прекращались, а с 1944 года вновь начал действовать Московский ипподром. Згидный, выигравший в руках мастера-наездника Н. Р. Семичова Приз Открытия, на бега прибыл прямо из действующей армии.

«Нельзя забывать, как советский Анилин скакал в Вашингтоне», – говорили французские эксперты перед Призом Триумфальной арки 1967 года в Париже, взвешивая шансы участников. Нам тем более надо помнить: Анилин не раз оставлял позади себя «крэков» американских, английских, французских, немецких, воспитанных на голубых пастбищах Кентукки, на бархатистых лужайках Англии, словом, из поколения в поколение знавших одно – «конский рай». А у Анилина бабушка с материнской стороны, имевшая несчастье родиться в военные годы, не видела, что такое настоящая подстилка, и почитала солому с крыши за первое лакомство.

Надо проследить дистанцию, пройденную нашими конниками и конями от военных и первых послевоенных стартов до систематического участия в крупнейших международных призах – Триумфальная арка, Приз Америки, Приз Организации Объединенных Наций, Приз наций, Международный Вашингтонский, Большой Ливерпульский, Большой Пардубицкий, Приз Парижа, Приз Европы... Выйти на дорожку в таких соревнованиях – почет и высший уровень, а у нас – призеры.

Из поражений на Олимпийских играх в Хельсинки и Стокгольме, когда в троеборье (манежная езда, кросс, преодоление препятствий) и выездке триумфально выступили шведы, наши конники сумели извлечь полтавский урок. В Риме выдающийся шведский всадник-ветеран Генри Сен-Сир отдал первенство Сергею Филатову. Правда, говорили о том, что успех советского спортсмена сенсация, и только. Однако в Токио Филатов опять был в числе основных претендентов на чемпионский титул, который он уступил лишь в жесточайшей борьбе. Вообще после римской победы, после удачи наших троеборцев, дважды взявших европейское первенство, наши конники стали значиться фаворитами во всех крупных международных соревнованиях. В Мехико Иван Кизимов на Ихоре блестяще доказал, что не зря, не случайно значатся!

Международный успех пришел и к нашим спортсменкам. Студентка, потом аспирантка и, наконец, преподаватель Московского университета Елена Петушкова на Олимпиаде в Мехико была признана «мисс Европой» по конному спорту, оставив позади лучших спортсменов и многих сильнейших всадников мира. Дочь колхозного конюха, мастер-наездник Мария Бурдова выиграла интернациональные призы в США на ипподромах Монтичелло и Батавия Даунс.

Непростые отношения сложились у Маши с Парижем: во Франции, как, впрочем, и во всем мире, кроме нашей страны, женщины не допускаются к выступлениям на крупных ипподромах. Причина простая – публика в женщину-наездника не верит. Ассоциация рысистого спорта Соединенных Штатов сделала для Бурдовой исключение, а французы, как ни странно, решили не изменять общему правилу. И только после длительных переговоров был устроен специальный матч между Марией Бурдовой и популярным французским ездоком Гужоном. Схватка была жестокой: Маша выиграла у своего опытного соперника полголовы!

– Надеюсь, – заявила после этого Маша по парижскому телевидению, – что моя удача заставит французов лучше относиться к женщине.

Сверкание «звезд» в конном спорте не должно, однако, затмевать многих трудностей его развития. Эти трудности начинаются с основ – с лошади.

В прошлом коннозаводчики решали задачу, ясно подсказываемую потребностями времени и многовековой народной мудростью: «Конь – человеку крылья. Конь должен быть годен в подводу и под воеводу». Словом, мощный мотор и опасное оружие. Ныне потому и бывает подчас нелегко развивать конный спорт, что в современности нельзя уже так естественно и отчетливо определить положение лошади, до корня подорванное моторами, крыльями и пулеметами еще в пору Первой мировой войны. Да, во Второй мировой войне кавалеристы Доватора и Белова покрыли себя неувядаемой славой. Конечно, есть кручи, чащобы и бездорожье, где по-прежнему никакой мотор не способен соперничать с «лошадиной силой». Но можно ли спорить с тем, что потребности в этой силе катастрофически сократились? Четыре с половиной миллиона против тридцати или сорока миллионов – такова «теперь» и «прежде» численность конского поголовья в нашей стране.

Прошлые и настоящее соотносятся в конном деле, как и во всем, не без парадоксов. Теперь кричат не «Извозчик!», а «Такси!» Извозчики – музейная редкость, сохранившаяся лишь в некоторых городах. Но если некогда, в середине девятнадцатого века, с римским извозчиком торговались с пяти до трех монет, то теперь ему предлагают тысячу лир, а он отвечает преспокойно:

– За такие деньги моя лошадь с места не тронется! Берите такси.

Американский наездник Стэнли Дансер утверждал: «Поднять бы сейчас из-под земли ветеранов, начинавших беговое дело, и показать им, каковы рысистые испытания теперь, они не поверили бы своим глазам, увидав размах рекламы и популярность бегов, рост призов, уровень рекордов». У нас, например, лошадей стало разительно меньше, чем в прежние времена. Но каких лошадей? Тридцать миллионов составляло море беспородных крестьянских лошадок: «Ну, трогай, Саврасушка, трогай! Натягивай крепче гужи...» Теперь вместо гужей и хомута нагрузка перенесена на машины – тянет трактор и грузовик. А между тем рекорды ипподромных знаменитостей прежнего времени, которые когда-то казались недосигаемыми, в наши дни ежегодно повторяют рядовые рысаки.

* * *

Премьер среди американских наездников Дансер собирался приехать к нам, но... Вот как объяснил причину его несостоявшихся советских гастролей Ирвинг Радд, пытавшийся их организовать. Спортивный журналист, Ирвинг отвечал за рекламу на ипподроме Йонкерс и регулярно навещался в Москву, чтобы договориться о нашем участии в Призе Организации Объединенных Наций. Называл он три имени среди своих мастеров призовой езды – Делвин Миллер, Вильям Хотон и Стэнли Дансер. Но пока изыскивались пути, чтобы пригласить кого-нибудь из них к нам, эти звезды пятидесятых-шестидесятых годов закатывались одна за другой. Дед Миллер, как его называли, по возрасту ушел на покой. Хотон трагически погиб: при неудачном старте с разворота вылетел из качалки, его выбросило, как из катапульты. Остался Дансер – в чем задержка? Занят! У них в году 298 беговых дней, любой классный мастер у владельцев нарасхват, плюс повседневная работа, обусловленная обязывающим контрактом. Так и не получилось.

Ушел из жизни Радд, ушел и Дансер. Внешне и вообще по типу он напоминал нашего Александра Хиргу, и когда Саша оказался в США, чтобы выступить в Призе ООН, это сходство сразу признали. Кто помнит Сашу, округлого, плотно сбитого, некрупного крепыша, тот подтвердит: слово вымолвить было для него мукой мученической, выражал себя этот человек, лишь взявшись за вожжи, вот тогда – Хирга! Так и Дансер. Был он, что называется,

плоть от плоти, потомственный и неотъемлемый, не имел ни общего, ни специального образования, наследственно принадлежал рысистому делу, и всё.

Успехи его и других названных наездников совпали с необычайным подъемом рысистого спорта в Америке. На трибунах того же Йонкерса волновалось до сорока тысяч зрителей, а бега в сезон, за исключением воскресенья, проходили ежедневно. И уход таких, я бы сказал, матерых мастеров был этапом – знаменовал изменение всей атмосферы.

С введением ТЗПИ, тотализатора за пределами ипподрома, трибуны сделались полупустыми, а то и вовсе опустели. При том что доходы ипподромов и суммы призов возросли, общий колорит потускнел. Даже жутко становится, словно попал в обстановку фантастического фильма о неутешительном будущем: лошади бегут (или скачут), звонки то и дело раздаются, всевозможные табло сверкают, оповещая о результатах, секундах, ставках и выдачах, бесчисленные мониторы, даже в туалете, показывают каждое движение скакунов и рысаков – кому? Все на месте, кроме публики. Где же она?

Безгранично-многочисленная, невидимая, масса зрителей обретается в пространстве виртуальном. Мирового масштаба азарт удовлетворяется глобальным беговым кругом: каждые пять минут в мире совершается скачка или заезд, и, если хотите, в любое время дня и ночи ставьте в «длинном», сочетая первые и вторые места на Корсо ди Рома и мельбурнском Флемингтоне, а можно охватить «трифектой» еще и Акведук под Нью-Йорком.

Размах невиданный – все дальше и дальше от лошадей. Ими, собственно говоря, уже и не пахнет. Дансера, как и Радда, регулярно показывают по телевидению, будто они и не покидали сей мир, но это лишь подчеркивает, насколько же все с ними связанное ушло...

* * *

– Пусть лошади стали резвее, но зато лошади прошлого были выносливее! Прежде скакуны были сложены правильнее и более капитально. Обратите внимание, как часто встречается теперь у чистокровных лошадей свислый круп, а в старое доброе время прямой круп...

– Что ж, – отвечал на вздохи о «старом добром времени» и о «лошадях прошлого» выдающийся итальянский коннозаводчик Федерико Тезио, – свислый, или приспущенный, а стало быть, напористый, круп действительно отличает современную скаковую лошадь. И это залог ее резвости, обеспечивающей могучий толчок задними ногами. Говорят, лошади с прямым крупом лучше выдерживали дистанцию. Может быть, выдерживали... Вы мне скажите, почему теперь лошади с таким крупом и на длинной и на короткой дистанции оказываются позади лошадей с «неправильным», приспущенным крупом?

Не так-то просто оценить перемены, приносимые ходом времени. Когда Чехова убеждали: «Современные люди стали особенно нервны! – он морщился. – Бросьте, люди всегда были нервны...» Так и лошади – если не приходится им теперь совершать пробеги по сто верст, то это еще не значит, что они уступают ямским тройкам. Пойдите на ипподром, посмотрите розыгрыш классного приза, и перед этим померкнут все «чудеса старого доброго времени».

Было у нас время, к сожалению, совсем не далекое, когда пробовали думать, будто конный спорт устарел. На конный спорт стали смотреть как на нечто провинциальное, побочное по мере того, как почти прекратила существование кавалерия, а в транспорте и сельском хозяйстве машины оттеснили лошадь. Это прежние, сильно задержавшиеся представления о лошади переживали окончательный кризис, который показал: исчезает не лошадь, не конный спорт, а рушится давняя подоплека, питавшая их. Надо искать новые ресурсы, по-новому «оправдывать», то есть иначе, чем некогда, рассчитывать и обеспечивать существование лошади среди машин и механизмов.

В критическую пору дал себя знать энтузиазм рядовых конников. Им наш спорт обязан тем, что у нас есть призеры и чемпионы мирового класса. Что чемпионы! Чемпиона можно вырастить и парникового. Они сохранили и развили реальный спорт – народный, массовый.

«В голове у меня одни лошади», – писал мне тогда Шурка Панков, победитель первенства Российской Федерации среди сельских конников.

А я помнил время, когда в голове у Шурки не было лошадей. Были голуби. Потом собаки. Даже удивлялись: сын наездника, а лошади ему нипочем. Но природа взяла свое, наездничья кровь заговорила. На юношеских соревнованиях общества «Урожай» Шурка завоевал первое место. Он сразу показал «чувство лошади».

Это чувство проявилось в смысле более широком, когда надо было не только ехать на лошади, но пришлось защищать ее. Чувство это подсказало ответ на все самые болезненные вопросы: где взять средства на содержание конноспортивных школ, нужна ли современному человеку верховая езда и т. п.

– Ни один колхозный праздник не обходится у нас без состязаний конников, – рассказывает секретарь комсомольской организации колхоза «Победа» Читинской области, спортсмен Николай Хакимов. Он говорит это теперь, сидя в редакции журнала «Коневодство и конный спорт», говорит, вспоминая, какова была борьба за лошадь. А вот его прежнее письмо в редакцию, и я прошу читателей оценить, как пишет конник:

«Наш колхоз «Победа» имеет триста лошадей, из них двести рабочих, остальное молодняк. Лошади используются на самых разных работах – на подвозах грузов, на пастбищах. Конь продолжает верно служить сибиряку-забайкальцу. Лошадей легких, быстрых, спортивных в Сибири издавна называют бегунцами. Народные празднества всегда сопровождались состязаниями бегунцов. Конечно, эти состязания были очень просты, можно сказать, примитивны в сравнении с ипподромными испытаниями: скакали без седел, без специальной дорожки. Но держались эти состязания народной любовью к коню и тем были дороги.

Обидно было видеть, как исчезают, забываются бегунцы. Где-то около 1957 года совсем их не стало. Такое было время, такое настроение – «лошадь свое отжила». Как будто у людей, говоривших это, не было глаз, и они не видели, что наши горы, наши леса все так же суровы, и без хорошей лошади делать в них нечего. И опять шло время, и опять менялись настроения. И, наконец, настал час, когда колхоз имени Кострова Шикшинского района возродил традицию соревнований бегунцов. Было это в 1965 году. С тех пор у нас каждый праздник – скачки. Колхозная молодежь в первую очередь, конечно, принимает в них участие.

Я мечтаю о том, чтобы у нас был построен настоящий ипподром, была создана конноспортивная школа. Мы все здесь – прирожденные конники, можно и лошадей хороших подобрать. Нам нужна помощь – советом, средствами, делом. Сложив руки мы и сами не сидим...»

И журнал помог сибиряку. Его связали с конным заводом «Восход» Краснодарского края, лучшим в стране. Директор завода В. В. Иванов пригласил его к себе – на выучку. Он прошел стажировку у опытных тренеров и жокеев. Я увидел Николая Хакимова, когда впервые в жизни скакал он на Московском ипподроме в призе. Он пришел предпоследним, однако место тут ничего не значило. Большой этап пройден. Его ждут в родных краях, скоро он поедет домой работать и поделится со своими друзьями всем, что удалось ему узнать, усвоить, накопить. Николай Хакимов верит: сибирские бегунцы будут выступать на современном уровне!

И хотелось бы думать, что сбылась мечта Петра Руденкова, который когда-то мне написал из поселка Мирного Соль-Илецкого района Оренбургской области. Писал Петр как допризывник, ожидая повестки из военкомата: «Мне пришел ответ из Москвы. Можно надеяться, что буду служить в кавалерии. Даже не верится, что это может случиться. В общем,

наверное, буду кавалеристом. Дела у меня идут хорошо. Работаю. Стал увлекаться рисованием. Я и раньше рисовал, но плохо. Теперь вроде что-то стало получаться».

Что ж, и в спорте «солдат надеется стать когда-нибудь генералом». Вильям Фолкнер, известный американский писатель и большой поклонник лошадей, наблюдая в Кентукки обычную тренировку обычных всадников-мальчишек, отметил: каждый конь двигался так, будто на секунду воображал себя Попляр-Хиллом (выдающийся скакун, вроде нашего Анилина), каждый мальчишка сидел с таким видом, будто он уже Эдди Аркаро (как наш Насибов). Но, главное, всякий, кто переступит порог конноспортивной школы, конюшни или манежа, кто увидит в действии дорожку ипподрома, быстро убедится, насколько это самостоятельный, развитый, глубокий, яркий, словом, «волшебный мир».

Волшебство, помимо всего прочего, заключается ещё вот в чем: на конюшне сходятся люди, которых не увидишь рядом где-либо в другом месте. Дважды был я на Кубе, а где встретился с Фиделем Кастро? На Московском конзаводе. В опере не раз слышал Паваротти, а единственный раз в жизни оказался с ним рядом там же, на конюшне. Мог бы я привести список заметных лиц из самых разных миров, оказавшихся вместе на конюшне, а я при сем присутствовал, но лучше покажу несколько «кадров» из конного мира.

Жизнь на благо лошадей



«Всю жизнь отдал я на благо лошадей», – так говорит ветеран-кавалерист ещё Версальской выучки. Он же говорит:

– Я видел езду Джемса Филлиса.

Филлис! Нелощаднику и передать трудно магнетизм этого имени. В литературе или искусстве это все равно, что сказать «Я знал Блока», «Я слышал Шаляпина». Волшебник выездки, целая эпоха в седле – таков Филлис. Расцвет его славы приходится на рубеж XIX–XX веков. Он много работал в России, обучая своей школе езды наших офицеров. Когда в 1913 году Филлис скончался в Париже, на его могилу был возложен венок «От русской кавалерии».

Все знает свой прогресс. Развиваются и приемы выездки. Когда-то, во времена классицизма, тон на манеже задавали кавалерийские школы Версаля и Сомюра. «Духу века» соответствовали высоко поднятые и скрученные книзу головы лошадей. Гнули тогда не только в затылке, как говорится, но и в шее. Получалось парадно, помпезно, однако малоестественно. Потом появился реформатор Франсуа Боше, версальский наездник, пересмотревший во многом приемы Версаля. Он дал коню большую свободу; но все-таки и Боше оставил лошадь за «поводом»: то есть не позволил ей вытянуть шею и упереться на удила. И вот пришел Филлис.

«Не сходя с пути, начертанного великими мастерами искусства верховой езды, – говорит он в автобиографии, – я мало-помалу выработал свой метод».

Филлис в своей сфере, подобно Ньютону в науке, сознавал, что успехов он достиг потому, что стоял на плечах гигантов. Не моего ума дело судить о выездке или физике, но для любой деятельности сохраняет свое значение правило *непротиворечивости*, как это назвал

Нильс Бор: новое лишь тогда в самом деле новое, если им усвоено старое; новые мастера должны овладеть техникой, выработанной классиками, иначе это всего лишь авангардизм, который пройдет как мода. Научившись всему, Филлис преобразовал все. Сидеть, держать коню голову, «собирать» лошадь, то есть подготавливать ее к движению, стали после него не так, как делалось это д'Ором или Боше. Современные всадники также многое переменили. И все-таки имя Филлиса звучит необычайно громко для конников. Потому и вздрагиваешь, когда старик в сапогах и венгерке образца Первой мировой войны произносит: «Филлис».

– Да, я видел его.

Это рассказывает Тимофей Трофимович Демидов – выпускник Высшей кавалерийской школы в Петербурге, драгун, в сабельные атаки ходивший в Первую мировую войну, трижды георгиевский кавалер, участник Первой советской сельскохозяйственной выставки в 1923 году, тренер-пенсионер. Он говорит:

– Я и Толстого видел.

– Не может быть! Где?

– По рождению я тульский, Веневского уезда. У нашей помещицы Игнатьевой, имевшей свой конный завод, торговал имение кто-то из детей Льва Николаевича. И мне посчастливилось встретить его самого. Ехал к нам в деревню на паре, запряженной в дышло, с кучером. Спросил меня: «На Богородское я здесь проеду? Дорога там в порядке?» Я отвечал. «Хорошо, хорошо. Спасибо», – были его слова. Потом, помню, когда начал я служить и наш Переяславский драгунский полк стоял в Плоцке под Варшавой, нас как-то построили, и командир полка объявил: «Вчера на станции Астапово скончался великий мыслитель всего человечества Лев Толстой». Офицеры надели траур.

– А Филлис?

– Филлиса увидел я уже в Петербурге, когда меня одного от полка послали в кавалерийскую школу. Мы занимали Аракчеевские казармы. Здесь, на манеже, Филлис по просьбе офицеров демонстрировал некоторые приемы. «Филлис! Сегодня будет ездить сам Филлис!» – говорили в школе, и все стремились посмотреть прославленного всадника.

– Что же особенного?

– Запомнилась гибкость его рук. Быть может, так лишь казалось, но думал я тогда, будто даже лошади понимают, кто сидит на них, – с исключительным послушанием подчинялись они воле всадника. Филлису царь говорил: «Делайте мне замечания». Все равно ездил царь неважно... Множество раз на манеже видел я Алексея Алексеевича Брусилова. Вот что было у меня на глазах: «Ты как сидишь? Как сидишь, я спрашиваю? Почему ноги болтаются как макароны?» – распекал Брусилов одного из всадников. «Ваше превосходительство, – говорят тут Брусилову, – это же сербский кронпринц Кара-Георгиев». – «Вот хорошо, теперь хорошо. Посадка правильная!» А посадка все та же, и ноги по-прежнему «как макароны». Но попробуй, хотя бы и Брусилов, сказать другое «принцу крови».

– Ездить учили крепко, – продолжает вспоминать старый кавалерист. – В школе попал я в берейторское отделение. Посадка считалась у меня не особенно прочной, но зато хвалили мягкость рук. Много изучали лошадь. Сколько у лошади костей?

– Не знаю.

– Двести двенадцать. Да... После того как я окончил школу, в полку берейторам полагалось давать самых строптивых, отбойных лошадей. Мне достался конь Ефрем. Он имел привычку опрокидываться назад. Каждый день я на нем ждал смерти. Едва успел я отслужить и прийти домой, как началась война. Меня призвали в 3-й Смоленский уланский полк.

– И вы в атаки ходили?

– В Польше, под Брезиной, впервые пошли в атаку. «Шашки вон! Пики в руку!» – и понеслись. Немногие вернулись с поля... В Восточной Пруссии у деревни Картал повел нас в атаку полковник-француз Мелио. «Чем скорее пойдем, тем вернее будет дело! – сказал он

нам. – Марш! Марш!» И, не выпуская изо рта дымящейся трубки, помчался вперед. Мы за ним. Поначалу немцы растерялись. Но вот справа заговорил их пулемет. Мы стали заворачивать. От полка уцелело не больше тридцати человек.

– Где же вы закончили службу?

– В Екатеринославской губернии на Украине нас застала революция. «Довольно, довольно! – требовали солдаты. – Хватит войны!» Пошли митинги. Стали сменять командование. Выбирать новое, свое. Многие поехали по домам, поехал и я. Начал работать в родных краях, под Тулой в Першине, где была государственная конюшня.

– Першино – известные места...

– Еще бы! Великокняжеская охота. До тысячи борзых. Князей и борзых, когда я приехал в Першино, уже не было, но жили еще некоторые охотники, псаря. Познакомился я со старшим доезжачим, возглавлявшим всю охоту, Ефимом Ивановичем Алексановым. Собак он знал удивительно. Мы поехали с ним как-то в знаменитый Хреновской конный завод, там кое у кого были охотничьи псы. Ефим Иванович лишь увидит собаку, тотчас называет породу и происхождение. Хреновские проверяли по документам, и все сходилось. «Что за человек?» – все поражались. Нашелся альбом по собакам, и когда его раскрыли, то на фотографии сразу попался со сворой Ефим Иванович. Нам от охотников-любителей не стало отбоя: каждый тянул к себе «на чай», побеседовать. Был еще в Першине Никита Григорьевич Рощин, также охотник. Профессия у него была редчайшая – подвывало. Он рассказывал, как надевал тулуп, забирался с вечера на всю ночь в лесу на дерево и выл волком. Сходились к нему серые целыми выводками и стаями. Так перед выездом на травлю проверяли, где есть волки и какие.

– А в толстовские места вы заглядывали?

– Обязательно. Уже в 1929 году попал я в Ясную Поляну на митинг, посвященный памяти писателя. Крестьяне пели песни, которые любил Толстой. Неподалеку от главного дома выступил с трибуны старик: «Однажды решил я стащить гречихи. Пошел вечером на поле, связал снопов пять, несу. Навстречу вдруг Лев Николаевич. «Иван, говорит, не много ли ты взял? Смотри, в имении новый управляющий, очень, говорят, строг. Ну, неси, неси».

– Лермонтова тоже знал... – добавляет Демидов.

– Как Лермонтова?

– Служил в нашем полку. Поэту он приходился дальним родственником. О нем в газетах недавно писали. Хотелось бы теперь встретиться... Последний раз видел я его в Першине. Кто-то приехал в конюшню. Смотрю – Лермонтов. Говорю конюху: «Степан, Лермонтов!» А он услышал. «Вы меня знаете?» – «Так точно. Вы штабс-капитан Лермонтов. Служили в Переяславском драгунском полку. Ездили на кобыле Приветная». И он меня признал. Поехали мы с ним верхами в поля. «Это же, Трофимыч, – говорит он, – наши, лермонтовские места». – «Совершенно верно. Рядом Кропотово, имение отца поэта».

– Лермонтов, – говорит Тимофей Трофимович о поэте, – в школе подпрапорщиков учился, профессиональный кавалерист был...

Интересно и странно как-то слушать конника-ветерана, в чьей живой памяти соединяются небывалые времена, люди и... лошади.

– В 1923 году, – продолжает он рассказ, – с группой горных арденов, бельгийских упряжных, среди которых был жеребец Рубикон, оставивший заметный след в породе, меня послали на Первую сельскохозяйственную выставку. (Ту самую, описать которую командировали Михаила Булгакова; он бывал на выставке с дамой, вероятно, поэтому не заметил лошадей.)

Тимофей Трофимович поднялся и показал, как на выводках приходилось ему объявлять клички и происхождение лошадей:

– Бенфэ де Манюи от Мамзель де Булан и Юпитера Первого! Выводка требует сноровки. Лошадь должна стоять как памятник. Уши стрелками. Ноги в правильном поставе – все четыре видны. Один конюх особенно ловок был. Он как поставит лошадь на выводной площадке, так начинает потихоньку дуть ей между ноздрей, а лошадь настораживается и, как нарисованная, замирает!

Среди орловских рысаков чемпионом тогда был признан Ловчий, полученный в Прилепском конном заводе Яковом Ивановичем Бутовичем.

– Якова Ивановича я тем более знал, – говорит Демидов. – Прилепы и Першино – все под Тулой. Он был наш сосед.

Бутович, как Филлис, – имя легендарное в конной среде. Это не только имя, но традиция в коневодстве.

– Он так знал лошадь, – вспоминает Тимофей Трофимович, – что, говорили, масть жеребенка способен угадать еще в брюхе матери.

У Бутовича достало в свое время проницательности приобрести Громадного, отца великого Крепыша. Громадный был уже дряхл и к тому же слеп на один глаз. Императорское общество поощрения коннозаводства отказалось взять его на государственное содержание. Но Бутович мыслил глубже, он помнил: Громадный дал Крепыша, а Крепыш вовсе не является какой-то счастливой случайностью, в нем соединилась кровь самых беговых, наиболее резвых семейств орловской породы.

– «Позор, если пропадет Громадный!» – вспоминает Трофимыч слова Якова Ивановича. И за баснословные по тем временам и по возрасту жеребца деньги Бутович купил старика.

От Громадного он получил у себя в заводе серую Леду; от Леды и Кронпринца, потомка Крутого и Лебедя Четвертого, родился Ловчий. Он удостоился чемпионского титула на Первой выставке, а в 1930-е годы чемпионом породы был признан сын Ловчего и Удачной, феноменальный Улов, абсолютный рекордист. Одним из резвейших рысаков послевоенного времени был сын Улова – Бравурный. В 1950-е годы на бегах гремел и был отмечен на выставке аттестатом 1-й степени сын Бравурного – Бравый. Так до сих пор в этой и в других линиях орловской породы сказывается чутье старого коневода.

Бутович был непоколебимым патриотом отечественной, орловской породы, считал себя наследником дела Орлова, Шишкина, Малютина, крупнейших коневодов прошлого. Не случайно поэтому в известной повести Петра Ширяева «Внук Тальони» маститый коннозаводчик Аристарх Сергеевич Бурмин напоминает временами то Малютина, то Бутовича. И когда Бурмин утверждает: «Слава отечества не померкнет, ибо гений орловского рысака бессмертен», – он выражается слогом Бутовича.

Натуре Бутовича было органически присуще созидательное, творческое начало. Хотя во взглядах на рысистую породу он расходился с лучшими деятелями нашего коневодства начала века Телегиным или Лежневым, но в принципе Бутович действовал заодно с ними, стремясь в новых условиях после Октябрьской революции сохранить ценнейшее поголовье своего завода. В то время, когда многое из старого мира подлежало разрушению и само созидание мыслилось через разрушение, Бутович стремится в своей сфере как можно больше сохранить. Он пишет о лошадях, о методах заводской работы, если становится ему затруднительно вести практическую деятельность коневода. Он передает новому государству уникальную галерею конных картин, имеющих как художественное, так и научно-зоотехническое значение. Эта коллекция дала начало музею коневодства Тимирязевской сельскохозяйственной академии...

– Что ж, к верховому делу вы так и не вернулись? – спрашиваю Трофимыча.

– Как же! В Туле мне приходилось скакать на першинских лошадях. На скачки мы ездили вместе с Алексеем Алексеевичем Барановым, достоверно выведенным в повести

Олега Волкова «Последний мелкотравчатый». Это был действительно редкий энтузиаст конного дела и охоты. Таких, сколько ни приходилось мне видеть нашего брата лошадника, по пальцам можно пересчитать. А перед самой Отечественной войной поступил я инструктором в кавалерийскую школу Осоавиахима в Москве на Поварской. Выучку в этой школе прошли многие впоследствии заслуженные наши всадники – Игорь Коврига, Павел Чулин... Грянула война, я отправился в Первый Московский завод эвакуировать лошадей. Вражеская разведка подбиралась к заводу на расстояние до четырех километров. Мой сын Сергей ушел на фронт. Он был в сражении на Курской дуге.

– Был в сражении... – улыбается Демидов-младший, тоже седой. – Плакал, сказать точнее. В огонь я попал совсем мальчишкой. Как прошла артподготовка, как небо с землей смешали, я в землю зарылся, мать вспомнил и заплакал...

– Он до Восточной Пруссии дошел, – твердит старик. – Сын мой воевал в тех же местах, где наш уланский полк с боями проходил. Сергей награды получил там же, где мне дали три Георгиевских креста!

Отец и сын, ветераны двух мировых войн. Седина. Годы. Георгиевские кресты. Медали «За отвагу», «За победу». Память.

– Я тоже помню, – говорит Демидов-младший, – Бутовича, Кронпринца, Прилепы, Першино...

Он, как и отец, помнит:

– ...Плоцк, Мариенвердер, Восточная Пруссия...

Демидов-старший рассказывает:

– Мой дед служил по-старинному: двадцать пять лет. Всю жизнь. Был в турецкой кампании, а с полком стоял в Сувалках. В Сувалках я тоже стоял в четырнадцатом году...

– И я был в Сувалках, в сорок пятом, – говорит Демидов-младший.

– С Московским заводом, где работал я в войну, – продолжает старик, – оказалась связана вся последующая жизнь. Мне особенно дорога память об одном случае: приехал Семен Михайлович Буденный. Он присмотрелся, как я провожу занятия со студентами-практикантами по верховой езде, и говорит: «Сразу видно – настоящая школа!»



Маршал С. М. Буденный перед началом кавалерийского смотра.

*«Отец знал лошадь, имел к ней подход, умел тренировать, видел, что она из себя представляет, и мог предсказать её будущее по экстерьеру».
Н. Буденная (интервью 1990-х гг.)*



Маршал Г. К. Жуков на Истоке. (Тот самый Исток, который меня вышиб из седла).



Внучатый племянник Крепыша Бравый перед резвой
Одесский ипподром, 1960

Фото Ю. Оленева



Октябрьский Парад в Звенигороде, 1961
«Испанский шаг» демонстрирует на Памире Павел Туркин.
Подо мной Помпей, брат Памира (братья-тракены от Пилигрима).



Из журнала «Хорс энд Шоу». 1969 г.

Снимок, возмущивший наших наездников: не расставлены локти!

За пассажиров Е. В. Шаширин и мэр г. Нортфильда, штат Огайо.



К лошадям!

С Борей Ливановым и собачкой Касьяном, Николина Гора, 1978 г.
Шарж Василия Ливанова.



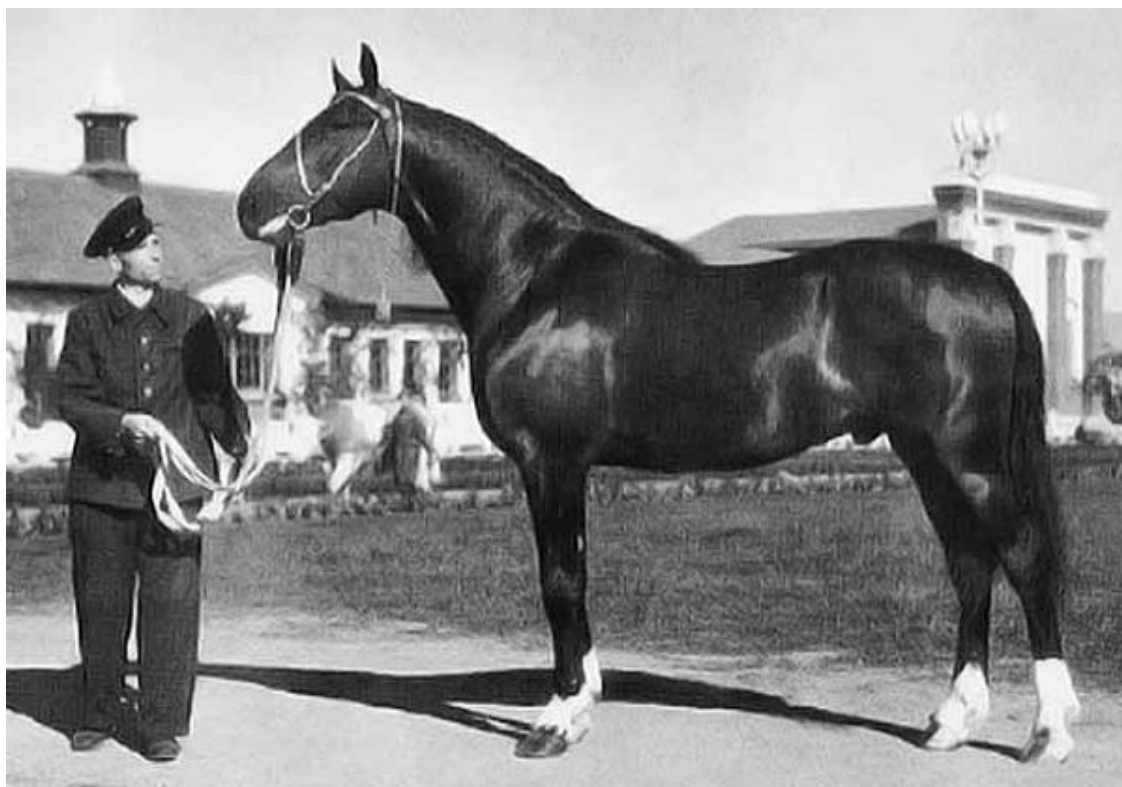
«Перемена ног» – фигуру высшей школы верховой езды на Абсенте демонстрирует Олимпийский чемпион Сергей Филатов.
Из архивов Московского ипподрома.



Лошадь в сборе под седлом Сергея Филатова.



Точный расчет троеборца. Фотоэтиюд А. Шторха.



Абсолютный чемпион орловской рысистой породы Квадрат со своим воспитателем Василием Курьяновым.

Из архивов Павильона Коневодство на ВДНХ.



Татьяна Куликовская, 1940-е гг.

Мастер спорта и мастер-преподаватель верховой езды.



«На птицу в полете был Борька похож...»

Шестикратный чемпион страны и победитель международного «Приза наций» Борис Лиллов на Диаграмме.



Стенли Дансер, 1960 г.

Был и остаётся неподражаемым среди американских наездников.
Фото из архива С. Дансера.

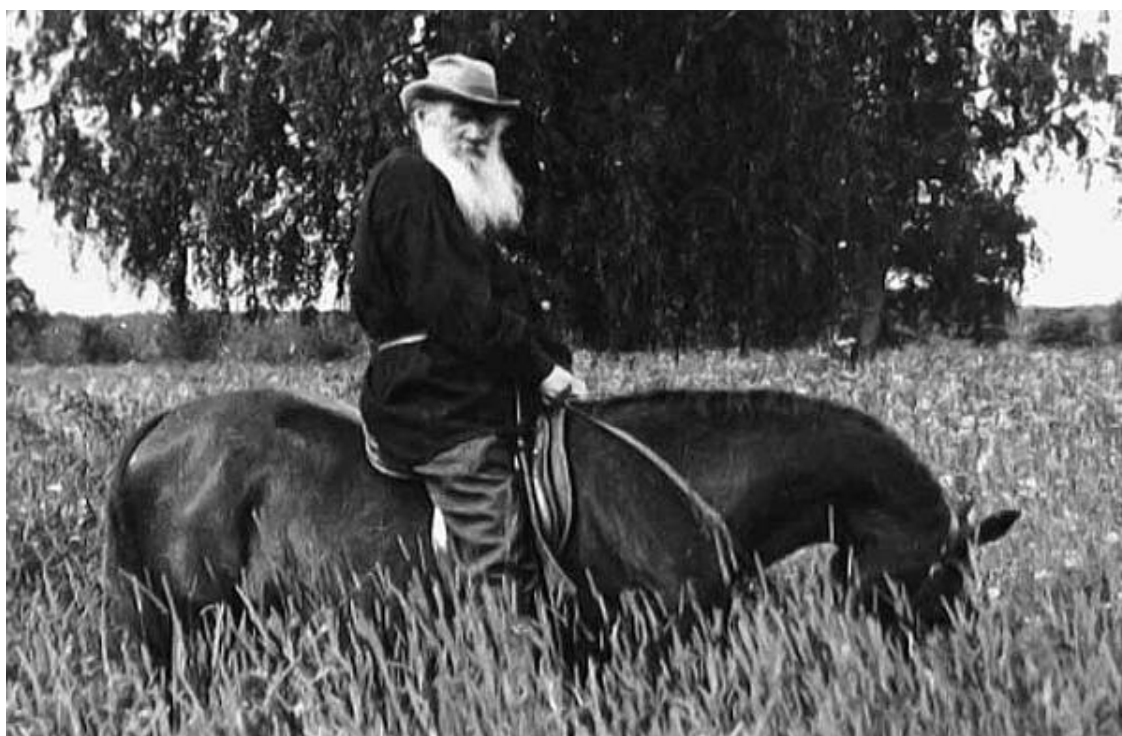


Король русских рысаков и король призовой езды. Крепыш в руках Кейтона, 1912 г
Из журнала «Русский спорт».



«И у меня в пьесе есть лошадь».

А. П. Чехов в Мелихово.



«Толстой всю жизнь ездил на лошади».

Из кн. А. П. Сергеенко «Рассказы о Толстом».

На «Делире»

Миллион Николая Насибова



«Миллионерами» называют у нас летчиков, машинистов, чей трудовой путь в облаках или по земле растянулся на тысячи и тысячи километров. Сколько «накрутил» жокей международной категории Николай Насилов по дорожке ипподрома, пока не подсчитано. Но известен доход, принесенный им государству в золотых рублях: за четырнадцать лет, участвуя в соревнованиях на ипподромах мира, Насилов взял призов общей суммой в миллион рублей.

Родителей Николай не помнит. Он вырос сиротой на Куларском конном заводе. Конюшенный мальчик – ездок-жокей – мастер-жокей – жокей международной категории и, наконец, главный тренер скаковых лошадей Центрального Московского ипподрома: его подъем был одновременно и труден и блистателен. Берлин, Варшава, Прага, Стокгольм, Осло – такова география его начального триумфа за рубежом.

На «Большой интернациональный круг» Насилов вышел с темно-гнедым Гарниром (от Рауфбольда). В 1958 году впервые в истории нашего скакового дела Насилов пересек океан и принял участие в Вашингтонском международном призе на ипподроме Лорел, где собирается скаковой цвет и Европы, и Америки. Особый успех Насибова оказался связан со светло-гнедым Анилином конезавода «Восход». Осенью 1967 года Насилов достиг небывалого: в третий раз подряд на ипподроме в Кельне взял Приз Европы. Анилин стал «трижды венчанным».

В чем сила Насибова, его секрет? «Понимание скачки», – тотчас ответит специалист. Как никто, умеет Насилов схватить, что происходит на дорожке, чем опасны соперники; с удивительным расчетом распоряжается он лошадью по дистанции.

– Наши скакуны, – говорит мастер, – отличаются силой, выносливостью. На Западе культивируется резвость, езда «на бросок». Особенно английские и французские жокеи едут,

выжидая, выдерживая, а на последней прямой они добиваются от лошади страшной резвости – 500 метров в 27–28 секунд. Вот почему летом 1966 года Анилин буквально у самого финишного столба все-таки отдал Вашингтонский приз, когда победа была так близка...

Уже в первом повороте Анилин рывком захватил лидерство и повел скачку. Насибов наращивал темп, заставляя соперников ехать как можно резвее с самого начала. Следом держался американский скакун Ассагаи. В пятидесяти метрах от финиша Анилин был по-прежнему первым. Ни Ассагаи, которого прочили в победители, ни французский фаворит Васко да Гама, пытавшиеся обойти Анилина, не могли угрожать ему. Но была в скачке еще одна французская лошадь – Бехистоун. Нужно обладать большой верой в класс своего скакуна, чтобы, как жокей Дефорж на Бехистоуне, идти всю дистанцию последним. Только на финишной прямой Дефорж выслал Бехистоуна, и тот буквально полетел мимо всех. Фото- и кинокамеры сохранили зрелище этой схватки: до столба считанные метры, Анилин и Бехистоун скачут «ухо в ухо», «ноздря в ноздрю»...

– Николай, почему, как видно на снимке, Дефорж почти бросил повод, а вы, кажется, еще придерживаете Анилина?

– В этом все дело: хотел помочь лошади. Дефорж сохранял силы Бехистоуна до конца, а потом выпустил лошадь, словно камень из рогатки. Анилин же вынес на себе всю скачку. Его надо было поддержать, дать ему возможность опереться на удила, на повод.

– А если бы вы стали на Анилине «сторожить» их всех где-нибудь сзади?

– Нет, на бросок не возьмешь. Приходится ехать, как говорится, на силу. Я бы сказал, сегодня задача всего нашего коневодства – добиваться у лошадей резвости. Дело в том, что до сих пор, разводя чистокровных скакунов, мы непременно учитывали хозяйственное, военное значение коня. В «чистом» виде ипподромный скакун, конечно, не используется ни в поле, ни в строю. Он действует как производитель, как «улучшатель» полукровной лошади. И в этом смысле от него, естественно, требуется прочность, ширина кости, рост. Поэтому у нас обращали внимание на многие «рабочие» качества племенного потомства. А на Западе уже давно отбор ведется по одному признаку – только резвость! При мне наши специалисты, покупая у одного английского владельца жеребца, качали головами: «Всем хорош, да слишком маленький...» Англичанин сказал: «Когда он скачет впереди всех, он совсем не кажется маленьким!»

– Классные лошади принимают участие в Вашингтонском призе?

– Еще бы! Позади Анилина в побитом поле остался тогда Том Рольф. Среди американских скакунов он числился чемпионом. И его призовой «заработок» к трем годам превысил четыреста тысяч долларов. Правда, Анилину он проигрывает уже не первый раз. Мы с ним встречались в Париже в скачке на Приз Триумфальной арки. Шло двадцать лошадей. Том Рольф остался шестым, а я на Анилине был пятым.

После классического Эпсомского Дерби в Англии, Триумфальная арка – самый почетный международный приз. Анилин был первым советским участником в этом соревновании. Все скаковые эксперты отметили тогда выступление Анилина. Он и значился у них – «тот, что был пятым в Триумфальной арке». Репутация высокая. Не надо забывать, что лорд Дерби, основатель традиционного приза, всегда мечтал, чтобы его лошадь выиграла этот приз. И не дождался. С конца XVIII до начала XX века из класснейшей конюшни лордов Дерби было всего один-два победителя Дерби. Вот что значит подобный приз.

– Вообще отношение к нашим конникам, – говорит Насибов, – куда ни приедешь, совершенно исключительное. «Советский Союз, Россия, лошади» – эти слова открывают все двери и все объятия, неважно – проиграл или выиграл. А случается по-разному. Скачки есть скачки! Первейший американский жокей Эдди Аркаро на Вашингтонский приз скакал семь раз и только один раз был победителем. Лорд Дерби сто лет ждал... Ах да, вы знаете.

Я знаю также, что говорится в программе Вашингтонского приза: «Николай Насибов – ведущий жокей Советского Союза и один из лучших жокеев мира».

«Нет лошади, которая могла бы сделать два резвых броска по дистанции», – говорили знатоки, когда Анилин прибыл осенью 1967 года в Кельн для участия в Призе Европы. Иными словами, если тактика Насибова останется прежней и вновь он поведет скачку, складывая ее «на силу», то на финише Анилина «не хватит». В Призе Европы также участвовал советский скакун Акташ; ехал на нем Андрей Зекашев – еще один мастер международного класса. Эксперты думали: соконюшенник Анилина возьмет на себя роль лидера, а Насибов будет беречь своего гнедого до конца. Однако едва прозвучал звонок старта, Анилин стремительно вырвался вперед. Езду Насибова сочли рискованной и безнадежной: Анилина «сторожили» французский скакун Танеб, победитель Гран-При на ипподроме Сан-Клу, западно-германский дербист Люциано и другие выдающиеся лошади.

– Я понял, – рассказывал потом Оскар Ланген, жокей Люциано, – Насибов решил взять всю скачку на себя, и его во что бы то ни стало надо перехватить.

На финише Люциано подошел к Анилину вплотную.

И тут насибовский посыл! Точный расчет возможностей лошади, единство, слитность со скакуном, воля всадника, переданная коню: «Вперед!» Публика даже не успела пережить, прочувствовать мгновенной, но отчаянной борьбы, как Анилин был первым у столба. Спортивным комментаторам оставалось единодушно признать: «Вот это да!»

– Николай, еще одно «техническое» уточнение: почему западные жокеи сидят выше, чем вы?

Поясню смысл моего вопроса: современная, «обезьянья» посадка жокеев – стоя на стремянах и скорчившись – привилась в скаковом деле сравнительно недавно. Она имеет случайное, почти анекдотическое происхождение. Прежде сидели «глубоко», на длинном стремени. Именно сидели в седле, а не подымались на стремянах.

Конные картины английского живописца Джеймса Херринга, которые часто упоминаются в романах Голсуорси, сохранили нам вид прежних скачек, прежней «глубокой» или «длинной» посадки. Но вот заметили, если на лошади скачет малоопытный человек и, не умея как следует ни сидеть, ни управлять, хватается за гриву, а вместе с этим наклоняется вперед и привстает на седле, то лошадь идет быстрее: даже искушенные жокеи, но сидящие «глубоко», остаются позади. Объяснение этого заключалось в том, что у лошади облегчалась работа задних ног, толчок задними ногами получался сильнее, производительнее. Тогда и жокеи переняли «обезьянью» посадку – стремяна стали короче, седло уменьшилось, в скачке уже не сидели, а стояли, сжавшись, на стремянах.

Правда, находились и консерваторы, как знаменитый Фред Арчер, который до конца своих дней не переменил посадки и, сидя по-прежнему на длинном стремени, все-таки выигрывал. Фред Арчер вообще был жокеем-фанатиком. Чемпион чемпионов, «гений в седле», как его называли, он не знал поражений в серьезных призах и лишь однажды в традиционной скачке остался вторым, проиграв голову. Причиной тому был лишний вес. Для многих жокеев вес является сущим бедствием, мукой всей жизни. Они морят себя жестоким голодом, по целым дням сидят в парной. «За пятнадцать лет, – признается современный английский жокей Фред Палмер, – я выпарил из себя пять тонн». «Мой рацион, – рассказывает французский жокей Этьен Полле, – состоит из стакана теплой воды рано утром и легкого ужина вечером. А днем, чтобы отбить аппетит, я жую сигары...» И вот Фред Арчер, чтобы взять реванш, стал сгонять фунт за фунтом. Чрезмерным «потением» он довел себя до беспомыслия, до безумия. В горячечном припадке Фред Арчер застрелился. Ему не исполнилось и тридцати лет... С таким же упорством сохранял этот одержимый длинные стремяна и «глубокую» посадку.

Теперь на Западе посадка жокеев перешла в другую крайность, стремена укоротились донельзя, жокеи почти стоят на седле.

— Для чего это, Николай? Зачем так высоко? И почему вы сохраняете более низкую посадку?

— По-моему, я вам с самого начала ясно сказал, все дело в стиле скачки — на силу или на резвость, на бросок. Тот, кто всю дистанцию сдерживает лошадь, конечно, сидит как можно выше и короче, а мне, например, приходится ехать в посыле, все время «качать» поводьями, чтобы заставить лошадь идти быстрее. Естественно, для этого нужен упор, нужно быть ближе к лошади. Угол необходим для усилия. Иначе выдохнешься в два счета и до столба не дотянешь.

— А если...

— Ну, знаете, так мы никогда и не кончим. Мне на проездку пора!

* * *

«Николай Насибов работает в заводе двадцать пять лет, это половина жизни завода, — сообщил мне Шимширт, начкон «Восхода». — Именно за этот период у нас было выращено наибольшее количество классных лошадей и почти на всех них скакал Насибов».

Насибов — скакал, а выдерживал, то есть тренировал скакунов, Фомин. На лошадь «Фома» (так он себя называл) не садился, и нельзя было позавидовать той лошади, на которую бы он взобрался: тучен был, сильно тучен. Но сколько раз приходилось быть свидетелем такого зрелища! Смотришь скачку из паддока — среди тренеров. Насибов со старта держится сзади. На противоположной прямой выдвигается он вперед, и слышен торжествующий шепот тучного тренера, который, быть может, и в седле почти не сидел: «Фома! Фома поехал!». Расчет и руки жокея взяли от лошади воспитанное в ней тренером. А начкон Шимширт? Тот, что лошадь эту вывел, мне сообщил: «Заводу исполняется 50 лет. Задолго до этого я начал собирать фотографии наших лошадей для юбилейного альбома. Эта работа завершена, альбом сделан, в нем около двух пудов и больше 500 снимков 13×18 размером: листаешь — вспоминаешь...»

Абсент по соседству



Вороной Абсент, олимпийский чемпион, мой сосед. Чтобы повидать его, нужно по мосту пересечь Москву-реку, чуть пройти, повернуть налево, еще раз налево... В центре городской жизни, среди бесконечных машин, магазинов, огромных зданий тут же, за углом, открывается дверь в теплый полумрак конюшни – сеном пахнет, и поглядывают из-за решеток лошадиные морды. Что Фолкнер называет: «Горьковатый, терпкий и притягательный аромат конюшни». Вот Абсент. Сух, породен.

Чемпион повел глазом на скрип двери. Разглядев, однако, что чужой, остался, как был, стоять головой в угол. Он отдыхает после тренировки, он просит его не тревожить. Нервов требует высшая школа выездки. Потому и Абсент и другие лошади, те, что рядом вздыхают, постукивают или хрустят сеном, так тревожно посмотрели на скрип двери и на вошедшего. Уши насторожились, глаза заблестели: опять манеж? Опять удила и шпоры? Известно: лошадь любит конюха, а не наездника.

Среди призовых рысаков или скакунов встречаются натуры настолько нервные, что тренеру от приза до приза, от езды до езды им на глаза лучше и не показываться. Черновую, подготовительную, повседневную работу на них проводит конюх или помощник наездника: лошадь спокойна. Но едва увидит она рядом того, с кем связан решающий бег, борьба, высшее напряжение сил, как тут же вся затрясется, задрожит, а то отвернется в дальний угол денника, перестанет принимать корм и на глазах будет сохнуть. Может быть, лошадь не хочет простить наезднику какую-нибудь грубость? Такие лошади хлыста обычно никогда и не видят. «О-о-о, маленький... О-о-о, миленький... Хороший, хороший...» Эти лошади не

пугливы и не робки, они, наверное, страшно самолюбивы. Борьба за приз – невыносимое испытание для их гордости.

«Высшая школа» тоже вся на нервах. Лошадь поставлена тут в наименее естественное для нее положение. По указанию всадника под властью повода и под нажимом шпор она выполняет фигуры, движения которых нет, так сказать, в природе: «Галоп на трех ногах», «пируэты», «поворот на переду или на задую».

Джемс Филлис, великий ездок, был невысокого мнения об «умственных» способностях лошади. Натуралисты ставят лошадь по «интеллекту» среди животных только на седьмое место после кошки, слона и свиньи. Психологи отрицают способность лошади «сообщать». Считается, что феноменальный Умный Ганс, орловский рысак, выдрессированный господином Остеном в начале нашего века, который стуком копыт (то есть телеграфными сигналами) «говорил» на нескольких языках, умел считать, извлекал квадратный корень из $a + b$ и отвечал на вопросы «Как зовут нашего императора?», «Когда правил Юлий Цезарь?», на самом-то деле ничего этого не знал и не понимал; зато Умный Ганс зорко следил за хозяином и, улавливая едва заметные его сигналы, стучал копытом или переставал стучать. Надо все-таки отдать должное и Умному Гансу: если он и не сознавал, что обозначает своим копытом, то, во всяком случае, твердо усвоил, когда и как надо стучать. «Знают» и «запоминают» лошади вообще очень прочно. Куприн со слов наездника Черкасова записал о лошади: «Ее чертовская память! На беговой дорожке ей памятливы все места, где она раньше засбоила, или была обойдена, или испугалась хотя бы занесенной ветром афишки, или была приведена в порядок хлыстом».

Редко встречается среди лошадей собачья привязанность к хозяину, к определенному человеку. Конечно, того, кто имеет с ней дело изо дня в день, лошадь запоминает и признает, отзывается на голос. Она сама этот голос приветствует, но не громким ржанием-призывом, а так, одобрительным похихатыванием, тем звукосочетанием, которым обозначена у Свифта страна игогогов-лошадей: гуигнгнм... Жизнь заводской, призовой, спортивной лошади такова, что ей к одному человеку привыкнуть трудно, нет достаточного времени – она переходит из рук в руки. Другое дело лошадь ездовая, лошадь степная или горная, азиатская или кавказская: она, часто случается, от рождения до смерти служит одному человеку. Она растет на руках у хозяина, потом всю жизнь носит его у себя на спине... Там, среди горцев или степных кочевников, знают цену верной лошади, цену коню-товарищу, коню-другу:

*Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет.*

И конь привязывается к хозяину. Такая лошадь, если вдруг попадет она в новые руки, другого своим господином может и не признать, во всяком случае будет жестоко сопротивляться, вести себя словно неук – дикий, необъезженный конь. Вспомним рассказ Бабеля «Аргмак»: новобранцу ни за что не хотел подчиняться конь, доставшийся ему от прежнего хозяина.

* * *

Позволю себе поделиться и собственным опытом. Приехали мы с женой в Северную Дакоту, городок Витленд – Пшеничный, в гости к фермеру и ковбою: знаком с ним уже целую жизнь. На другой день устраиваются местные соревнования по загону скота. Ради моего же удовольствия друг мой настаивает, чтобы я принял в них участие. У меня же лошади нет! Он предлагает свою – сам он поехать на соревнования не может: занят пшеницей. Уверяет, что нрав у лошади совершенно соответствует ее кличке, а зовут эту рыжую кобылу Пре-

лесть. Погрузили Прелесть в фургон, завел ее собственноручно мой друг, а фургон – соседа, тоже ковбоя и фермера, но занимается не пшеницей, а только коровами, поэтому со своими лошадьми ехал на загон. И мы отправились. Прибыли, вывел я рыжую – бесспорно! – прелесть, привязал к фургону, поседлал. Жена говорит: «Встань к ней как можно ближе», – она решила нас сфотографировать. «Еще ближе»... Если бы я успел выполнить указание своей супруги, и ещё сантиметра на два приблизился к несвоей лошади, то, пожалуй, моей жене пришлось бы доживать свой век вдовой. Прелесть, кажется, только того и ждала, она взвилась, и ее передние копыта едва не вонзились мне в грудь. Удержала веревка, за которую кобыла была привязана, – оказалась достаточно коротка. Узнав о случившемся, друг мой покачал головой: «Как же так? Странно! Ведь ты же мой друг». Да, но его лошадь того не учла.

* * *

Абсент из туркменских степей – ахалтекинец. Нужна была твердая мастерская рука, чтобы сделать из Абсента ту подвижную картинку, какой во всем мире теперь любуются. Посмотрите, у всякой лошади, что прошла филатовскую выучку, на боку внизу за подпругой – маленькая, черненькая кожаная потертость: под шпорой, под шпорой! «Нелегко дается прекрасное», – сказал Платон. Вот мы на манеже, и кажется, словно бал, «высший свет», парад красоты и изящества. Елена Петушкова на Пепле, Александр Второв на Валерике, Иван Калита на Корбее... Все будто так и должно быть: шеи изящно чуть согнуты, головы картинно приподняты, ноги по-танцевальному вылетают вперед и копыта едва касаются беззвучных опилок. Беззвучность движения по манежу только добавляет легкости и полета коням.

Каждая эпоха выездки утверждала, что она приносит лошади все большую естественность в упражнениях «высшей школы». Конечно, что считалось естественным на манеже Версаля в конце XVIII столетия, потом, сто лет спустя, ниспровергал Филлис как вычурность и ненужность. А мы в 1952 году потерпели неудачу на Олимпийских играх отчасти именно потому, что все еще держались Филлиса, между тем как повсюду многие его приемы были уже сочтены искусственными, сковывающими лошадь.

– Теперь главное, – говорит Николай Федорович Шеленков, государственный тренер по конному спорту, наблюдающий за тренировкой, – это четкое выполнение обычных аллюров: рыси, простой и прибавленной, галопа, перемены ног на галопе, переход из галопа в рысь и наоборот, – остановка и начало движения. Кажется, проще, чем старинные пируэты. Однако тут есть коварный секрет: смотрят на лошадь и учитывают, что дала ей сама природа и как сумел улучшить естественные данные человек. Это испытали на себе Сергей Филатов и его замечательный Абсент. Можно сказать: за что их признали лучшими в Риме, то поставили им в минус на Токийской олимпиаде.

«Все с большим интересом ожидали выступления олимпийского чемпиона по выездке Сергея Филатова на Абсенте, – писал тогда старший судья соревнований полковник Франтишек Яндл (Чехословакия). – Однако езда Филатова вызвала некоторое разочарование, хотя его красивый конь остался, без сомнения, таким же, каким он был».

– Видите, – продолжает Николай Федорович, – мнение эксперта: «Те качества, которые конь не получил от природы, не помогла восполнить выездка». В Риме Абсент всем очень понравился выполнением пассажа, пиаффе, прямолинейной переменой ног. Его переходы из аллюра в аллюр нашли идеальными. А в Токио отметили: «У Абсента не улучшился прибавленный шаг, недостаточно опущен круп при максимальном сборе». И Филатов остался в Токио третьим. Правда, многие не согласны с предпочтением, какое отдала судейская коллегия западногерманским всадникам. Работают они, конечно, мастерски, но в их выездке

нарушен, по общему мнению, главный современный принцип – легкость. Легкость – верный признак выездженности лошади. А какая же может быть легкость, когда лошадь держат грубым поводом.

– Ихор у Ивана Кизимова движется очень легко.

– Иван Кизимов труженик! Невозможно рассказать вам, насколько его триумф в Мехико был заслуженным, как много вложено сил, мастерства и выдержки в эту победу. Кизимов обладает редкостным качеством: чем крупнее соревнования, тем увереннее он выступает. Чаще случается наоборот: всадник прекрасно подготовил коня, а нервы в борьбе подводят его. Иван человек железный. Такое самообладание в сочетании с мастерством – это суперспортсменство.

– Кто, по-вашему, наряднее – Абсент или Ихор?

– Абсент – красавец, однако в нем есть нечто экзотическое. Таков уж... тип этой лошади: Абсент сам по себе. Ихор более стандартен в лучшем смысле слова. Он определеннее представляет свою породу. Это украинский верховой конь. Важно, что в лошадях Александрийского завода, откуда вышел Ихор, сохранилась кровь орлово-растопчинцев, нашей замечательной отечественной породы, к сожалению, исчезнувшей. Не уберегли! Вот уж были красавцы – идеальные спортивные лошади, особенно на манеже для выездки. Где только на международных выставках ни появлялись орлово-растопчинцы, им безоговорочно отдавали за красоту первые призы. Так ведь?

Орлово-растопчинцы в названии соединили имена своих создателей Орлова и Растопчина, а в экстерьере сочетали благородство арабской, темперамент английской, внушительность голландской, а также прочность донской лошади. Вельможные заводчики были между собой враги и ревновали друг друга к успехам в коневодстве. Была у их взаимной неприязни и политическая подоплека: братья Орловы вращались в кругу масонов, а Растопчин являлся противником масонства.

Алексей Орлов, взявшись вывести не только скакунов, но и рысаков, брал размахом, роскошью, он экспериментировал в скрещивании лошадей широко. Военные фрегаты привозили ему с Востока и Запада коней десятками, даже сотнями; бескрайние владения в воронежских степях позволяли содержать и воспитывать молодняк в любых условиях. У Растопчина таких возможностей не было. Постройки его завода в подмосковном Воронове сохранились, хотя в свою очередь используются по другому назначению: где некогда холили лошадей, там теперь отдыхают люди – в изящных помещениях, которые с внешней стороны и перестраивать не требовалось, а внутри людям пришлось всего лишь потесниться – не каждому же отдыхающему, в отличие от лошадей, предоставлять отдельный денник, почеловечьи – комнату. А по сравнению с конными хорами, воздвигнутыми Орловым, у Растопчина был завод-игрушка.

Растопчин не только держался куда скромнее, чем Орлов, главное, он всячески старался по существу, по кровям вести свое дело особняком, независимо от Орлова. Когда же, однако, историки коневодства разобрали родословные орловских и растопчинских лошадей, то стало ясно, что мысль двух вельможных заводчиков двигалась одним и тем же путем. Оба вели породу по линиям от арабских жеребцов, приливая кровь то английскую, то немецкую, то горскую, то степную, то подсушивая, то укрупняя приплод.

Орловские верховые лошади начались от бурого арабского Салтана, сына его Салтана, внука Свирепого, правнука Ашонка, правнука Яшмы 1-го, а также от арабского белого Сметанки, сына его Фелькерзама, внука Фелькерзамчика, правнука Фаворита 1-го, праправнука Фабия.

У Растопчина порода была ведена от арабского Кади, сына его Окади, внука Ради и от арабского Каймана, сыновей его Тиктана, Гулака и Блака, а также внуков Жмака, Бояка и Базака... В этом пункте зоотехник Дюжев меня поправил: «Орловская верховая лошадь

пошла не от Салтана, а от Салтана 1-го. Потом от него и арабской матки родился также не Салтан, а Салтан 2-й, гнедой, отец знаменитого в свое время Свиристого 2-го. От Свиристого 2-го и англо-арабской кобылы родился Ашонок, а от него – Яшма, но не 1-ый, а тот, который много лет стоял главным производителем в Хреновском заводе. А растопчинская лошадь пошла не от двух, а четырех арабских жеребцов, а именно от Кади, Драгута, Каймака и Ришана, купленных в Аравии в окрестностях Мекки, и от чистокровных английских кобыл. Впоследствии на заводе Растопчина употреблялись также жеребцы персидские, турецкие и английские, в числе последних был знаменитый Пикер».

Чем знаменит Пикер, виноват, не знаю. И спорить о родословных не смею. Только надо ещё удостовериться, нет, не в знаниях опытного зоотехника, а в надежности источников его обширных знаний. Можно ли верить старинным племенным аттестатам? И все ли они сохранились?

Как бы там ни было, типом лошади этих двух пород были очень сходны, хотя растопчинцы выходили чуть мельче, но зато практичнее. Бабки у них были упруги, шеи короче. Постоянная работа в манеже развила у орловских лошадей из поколения в поколение чрезмерно длинные, изгибистые шеи. Конники находят их неудобными. Хотя лошадь не ходит на голове, – так рассуждают конники, – но несет ее перед собою, а потому шея и голова не должны обременять переда лошади.

Орловские лошади работали преимущественно в манеже, растопчинцы скакали на ипподроме, и притом успешно, не уступая выводным скакунам из Англии. В сущности, как считают специалисты, Растопчин в тесных пределах своего завода совершил то, что в свое время сделала целая страна Англия, создавшая отечественную породу скакунов.

Много лет спустя после смерти Орлова и Растопчина их верховые лошади поступили в государственный завод, и там вражда владельцев уже не мешала соединить их в одну породу. Если арабские лошади с их агатовыми глазами, сухой и породной головой, лебединой шеей и безупречными ногами считаются образцом конского изящества и благородства, с тем лишь изъяном, что они малы ростом и не очень резвы, то орлово-растопчинцы, сохранив гармонию форм арабской лошади, были крупнее и резвее. «Игрушка стала настоящей вещью», – так выражались знатоки, сравнивая орлово-растопчинцев с арабами. «Надобно видеть этих лошадей, чтобы понять тот восторг, который они производили», – говорит современник. Франт, Факел и Фазан, представленные в Париже на Всемирной выставке 1867 года, были оценены как «искомое совершенство верховой лошади». Факел удостоился среди всех лошадей, показанных на выставке, высшей награды, и не получил ее только потому, что вместе с другим золотым медалистом Бивуаком был подарен французскому правительству. Впрочем, золотые награды перешли нашим же лошадям – верховому Искандеру-Паше и рысакам Недотроге и Бедуину. И все-таки этим исключительным лошадям не везло, несмотря на восторги, ими повсюду вызываемые.

Об угасании породы разговоры начались чуть ли не с тех же самых пор, как порода возникла. И дело не в лошадях, а людях возле лошадей. На эту тему зоотехник Изгородин из Боровска рассуждал следующим образом: «Теперь снова приходится доказывать, что земля круглая, а это нелегко. Для улучшения и воссоздания былой славы орловцев нужен талант, любовь и время. Нужна лошадь-орловец, которая бы на ипподроме била любых соперников, в деревне возила бы бригадиров и специалистов, в лесу – геологов и лесников, на фермах – корм скоту, к тракторам – воду, делала бы еще много-много работы накоротке. Была бы красива, быстра и сильна. Давала бы наслаждение любителям конного спорта и даже просто людям, любящим прекрасное. Это может сделать только орловец, с которым нужно поработать таланту заводчика. Нужно еще сильнее и ярче стоять за орловца и поднять на пьедестал его создателя А. Г. Орлова. Меня покоряет фигура графа Алексея Григорьевича Орлова, фигура колоритная, получившая почти одинаковую оценку своих современников и совре-

менников наших, человека не безупречного (на совести его княжна Тараканова), но умного, до безграничности храброго и очень талантливого, доступного всем и все же человека своего века и клана, великого зоотехника и флотоводца, воспетого Державиным и Пушкиным. Пробовал я кое-кому из писателей намекнуть на эту тему, но говорят – пиши сам, а у самого таланта и нет». (Литературная самооценка Изгородиня мне представляется излишне суровой. Даже по этому фрагменту из его письма можно видеть дарование, как знаток пользуется свойственным ему языком конника!)

Порода то угасала, то вроде бы вновь возрождалась – блистала, подтверждая при всяком случае свои достоинства, как блеснули перед Отечественной войной на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве последние орлово-растопчинцы. Грустная история! Порода пропала, рассеялась подобно тому, как неразрешимой для нас тайной остался греческий боевой огонь, как затерян секрет ямайского рома и булатной стали. При мысли о судьбе наших отечественных верховых лошадей возникает то же щемящее чувство, что при виде беспризорных развалин зданий былой славы.

– Да, украинским конникам спасибо, что по крупцам они восстанавливают тип, сходный с орлово-растопчинской лошастью. И победа Кизимова на Ихоре им большая награда.

– Еще бы! – подтверждает Шеленков. – Проблема спортивной лошади для нас существеннейший вопрос. Возьмите, например, конкур...

Конкур – преодоление препятствий на лошади по определенному маршруту. Тренер заговорил об этом виде конного спорта, должно быть, потому, что группа выездки закончила работу и на манеж выносили барьеры. Будут прыгать.

– С этим видом конного спорта у нас просто парадокс какой-то: прекрасные всадники и более чем средние лошади.

– Позвольте, ведь Борис Лиллов, победитель Приза наций, получил в Париже, кроме того, особый приз «за мастерство езды», а Эрнест Шабайло занесен в Золотую книгу города Гамбурга. За тридцать лет существования Гамбургских состязаний только пятнадцати конникам удалось...

– Я и говорю вам – прекрасные всадники!

– В чем же дело с лошадьми?

– У нас нет или почти нет специальных конкурных лошадей. Удачей нашего спортсмена считается получить чистокровную скаковую лошадь: она, по крайней мере, резва и прыгуча. Но, кроме того, она страшно темпераментна, нервна, она поступила со скачек и знает только одно – лети по прямой. Конкурист должен ехать по маршруту с расчетом, выбирать нужное положение, чтобы подойти к препятствию, а ему приходится тратить все силы на борьбу с темпераментом лошади.

– В «Основах выездки» Филлис говорит, что предпочитает чистокровных.

– Если вы прочтете Филлиса внимательнее, то увидите, как тщательно выбирал он лошадь по всем статьям и как долго ее готовил. И разве я говорю, что чистокровная лошадь в прыжках не годится? Вы ведь знаете, какой смысл имеет у англичан понятие «чистокровная», то есть, совершенная и по породе и по всем свойствам лошадь. Однако гладкие скачки развивают у этой лошади одни качества, конкур – другие. За рубежом существуют специальные тренировочные депо, которые готовят для спортсменов лошадей резвых, но вместе с тем достаточно спокойных, выездженных. Важен возраст лошади и, наконец, ее пол. До шести-семи лет лошадь для прыжков и троеборья считается молодой, хотя ее ипподромная карьера к этому времени давно заканчивается. Серьезные зарубежные спортсмены только готовят лошадь с четырех-пяти лет к прыжкам, а у нас пятилетние лошади прыгали иногда в ответственных соревнованиях. И по нашим троеборцам (манежная езда, кросс и конкур), тоже очень способным, опять-таки видна нехватка специальной троеборной лошади, хотя мы уже дважды были чемпионами Европы.

– Где взять таких лошадей?

– У нас ли нет лошадей! Только использовать их надо с толком. Есть чистокровные, есть различные местные породы. Нужна добротная полукровная лошадь и систематическая организация выездки этой лошади. Наш спортсмен сам вынужден тратить время на предварительную подготовку лошади, а Винклер или Тидеман, сильнейшие конкуристы мира, получают почти готового коня от профессионального берейтора. Это машина, а не лошадь.

Машины, машины – вот они, как только вышел за дверь манежа. Все же горьковатый и терпкий аромат конюшни, перебивая все запахи, держится в одежде и напоминает теплый полумрак, носы и уши сквозь решетки, на пружинистых опилках беззвучную карусель всадников и заботы людей, которые защищают конноспортивную честь нашей страны.

Требования к хорошей лошади, или Всегда в посыле (Почерк чемпионов)

Для сборника о наших выдающихся спортсменах в серии «Жизнь замечательных людей» мне заказали очерк. Решил я вспомнить всадника, которого хорошо знал. Это – Борис Михайлович Лиллов, шестикратный чемпион страны, один из четырех наших конников, взявших в Париже Приз Наций, а его удостоили ещё и особой награды – «За обаяние в езде». Некогда он принял меня в конно-спортивную школу «Труд», где заведовал учебной частью. У меня была фотография – Лиллов в прыжке – на обороте которой кто-то вывел строки:

*Птица в полете,
Рыба в воде —
Таков был Лиллов
На манеже везде.
И помнит Германия,
Франция – тож:
На птицу в полете
Был Борька похож.*

Когда Лиллов летел над барьером, становилось понятно, почему это называется «искусством верховой езды»: стиль, почерк. Все-таки решил я уточнить, в чем заключается искусство с точки зрения мастеров этого искусства.

Вот что услышал я от Фаворского Андрея Максимовича, входившего вместе с ним вместе в ту самую «замечательную четверку». Вопрос я поставил так: почему звезда Лилова закатилась, когда сошла с арены его Диаграмма? Кто фактически выигрывает – конь? Много ли приходится на долю всадника?

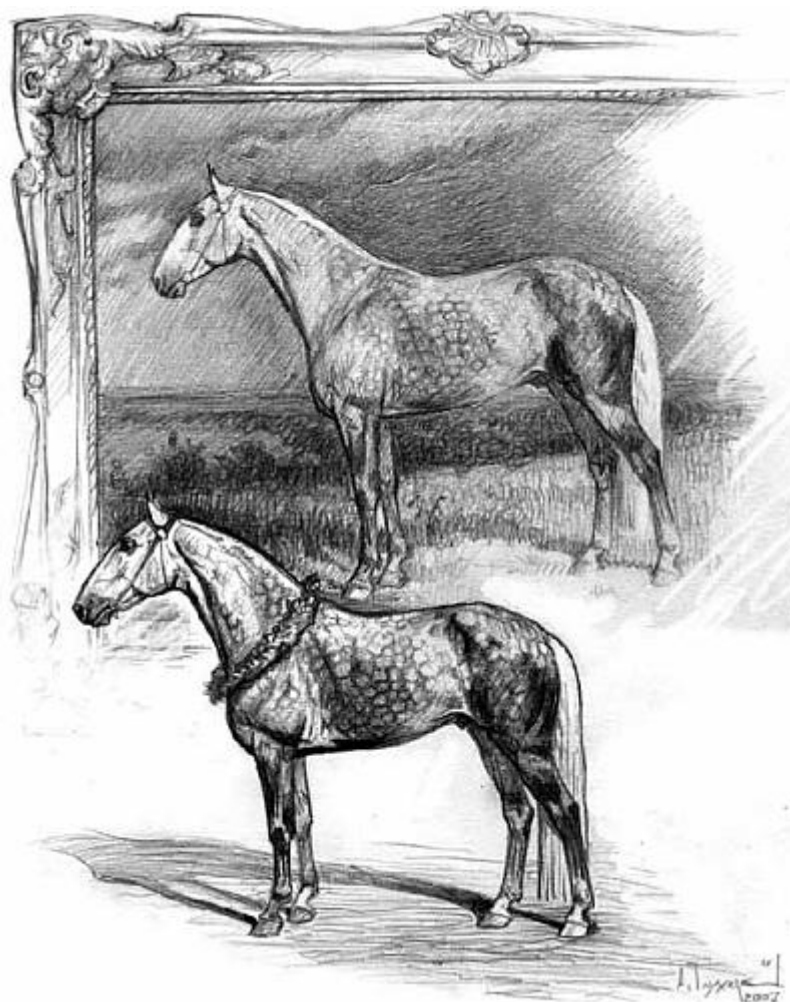
Обстановка нашей беседы: конюшня, амуничник, где хранятся седла и прочее снаряжение, Олимпийский чемпион по выездке Иван Кизимов чистит после езды удила и стремена, ветфельдшер готовит таинственную смесь для втираний.

Фаворский (*сидя на сундуке с овсом*). Лошадь должна быть талантлива. У неё должны быть душа, ум, сердце и другие природные данные, необходимые в нашем деле. Диаграмма у Бориса была талантлива. Мой Крохотный талантлив. У Лисицына Пентели, небольшой, лещеватый, узковатый, значит, а талантливый, просто талантливый! Порода? У нас в конкуре свое понятие о породе. Конкур – не скачки, паркур (маршрут) – не ипподром. Скакуну нужна резвость и ещё раз резвость, все остальное – постольку-поскольку... А конь конкурриста должен обладать такими свойствами, что они вроде бы взаимоисключают друг друга. И в конкуре нужна резвость: как иначе наверстать время, упущенное при повалах? Но резвость – нервы, а с чрезмерными нервами на манеже делать нечего. На паркуре от коня и седока требуется прежде всего расчет. Борис всю жизнь ехал по маршруту: всегда в посыле! По улице шел и высчитывал темп прыжка до каждой лужицы. Он даже во сне брал барьеры. В чем заключался его секрет? Нет сомнения – руки. Ну, и голова, конечно. Чувство лошади! Как никто, чувствовал он, когда нужно «снять» лошадь и поднять её перед препятствием на прыжок. В этом Борис не знал себе равных... (*В конюшенном коридоре слышен шум. «Терентий ребятам отчитывает», – поясняет Фаворский. Выглядываем в коридор: тренер сборной, Григорий Терентьев говорит: «Ездить надо уметь! Повод держать как следует и в седле по-настоящему сидеть!». Перед ним стоят... чемпионы Иван Калита и Елена Петушкова.*)

Фаворский (*вернувшись на сундук, продолжает*). Борис понимал лошадь, но и лошади его понимали. И Бриг, и Атлантида, а уж Диаграмма в особенности. Она, кстати, поступила в спорт со скачек, но скакала бесцветно, а на манеже нашла себя. Она обладала природным сбором: от рождения дана ей была гармония движений, а в прыжке это – всё. Трудно было в самом деле уловить, кто же из них двоих рассчитывает, как действовать, когда шли они с Борисом на препятствие. С любого положения, с любой ноги эта небольшая кобылешка взлетала, как мячик. Была незлопамятна. Борис никогда её не наказывал, но ведь напряжения приходилось выдерживать страшные. А с кобылами, известно, как бывает: отобьешь душу, переработаешь и – конец! Но Диаграмма была отходчива. Умела себя беречь, сама распределяла свои силы, но без лукавства, без отлынивания. Открытая сердцем, откровенная по езде, да что говорить, талантлива была...

Жизнь замечательных лошадей

«В Рай не пойду, если не будет там лошадей!»
Канингам-Грэхем



Вечные кони

«Скажу – рысак».

А. С. Пушкин

Прекрасно, что в каждой стране, где развиваются свои, национальные традиции конного спорта, есть некая исключительная, легендарная лошадь, «лошадь нации», «лошадь века». У англичан это, должно быть, Эклипс или же Сент-Саймон, у американцев Грейхаунд или Фрегат (Ман-оф-Уор), у австралийцев Фар-Лэп, у итальянцев Рибо, у венгров Киншем, а у нас, конечно, Крепыш. «Все рекорды Фар-Лэпа давно побиты, но дело тут не в рекордах», – справедливо пишет «биограф» знаменитого австралийского скакуна. Не одна резвость, не только класс, а своего рода «биография», «судьба» отличает особенную, «историческую» лошадь.

Живописцы увековечивают таких лошадей на полотнах, как, например, сам Серов написал Летучего, академик Самокиш сделал портрет его сына – Громадного, а Савицкий запечатлел схватку Улова, правнука Громадного, с Талантливым и Пилотом. Профессор коневодства В. О. Витт говорил о серовском портрете Летучего: «Подходя к картине, вы сразу замечаете ярко выраженную индивидуальность жеребца. Создается впечатление, что Летучий хочет ударить, отбросить непрошеного посетителя, осмелившегося чересчур близко подойти к нему. Недоверчиво строгим взглядом смотрит жеребец, и становится ясным, что его огневой темперамент лишь с трудом поддается обузданию со стороны человека, с не меньшим трудом, чем поддается он запечатлению на полотне художника». На этом портрете выдающегося рысака мы видим ту богатую кость, ту породность, что сказываются в потомстве этой линии до сих пор.

Таким лошадям ставят памятники: возвышаются в Лавровском заводе Тамбовской области всесоюзные рекордисты отец и сын – Подарок и Первенец, а на Выставке достижений народного хозяйства у павильона «Коневодство» застыли Символ, родоначальник буденновской верховой породы, и чемпион среди орловских рысаков Квадрат. Причем Квадрату поставлено даже два памятника: создана конеторговая фирма под именем «Квадрат», и там бронзовая скульптура знаменитого рысака тоже украшает площадь перед манежем и конюшней.

Феноменальный Грейхаунд, мировой рекордист, занимал собственный «музей» в Иллинойсе до преклонного – тридцатилетнего – возраста. Точно так же у нас в учебно-опытной конюшне Тимирязевской Академии состоял почетным пенсионером выдающийся скакун 1920-х годов Будынок, доживший до тридцати двух лет. Когда в Национальный музей Австралии в Мельбурне было поставлено чучело Фар-Лэпа, то число посетителей музея заметно увеличилось. Приходили люди и с порога задавали только один вопрос: «Где Фар-Лэп?» и торопились к нему, не замечая прочего. Некоторые обращались к администрации с просьбой убрать из зала, где стоял Фар-Лэп, все остальные экспонаты, чтобы ничто не мешало, как выразился один энтузиаст, «вспоминать о прошлом наедине с великим скакуном».

О таких лошадях пишут книги. Годольфина-Арабиана, родоначальника английской скаковой породы, прозванного Черным Принцем, сделали «героем» своих произведений французские романисты Эжен Сю и Морис Дрюон. В романы, повести попали и Красавец Вороной и Тальони. Резвейший рысак XIX века, гнедой Бычок, отмечен в «Былом и думах». Надо ли напоминать, что шедевры *иппической* литературы – «Холстомер» и «Изумруд» –

написаны не о каких-то вымышленных лошадях, а о реальных, гремевших в свое время ипподромных боях? Документально выдержано описание лошадей и призов у Голсуорси. Можно сказать, что по страницам «Саги о Форсайтах» проносятся все скаковые знаменитости первых десятилетий нашего века: тут и Блейнгейм, и Соларио, и Сансовино.

Крепыш удостоился двух специальных «биографий», одна из которых так и называется – «Лошадь столетия». Есть книга «Русский рысак Петушок». Издана роскошно иллюстрированная «Судьба Грейхаунда». Не одно издание выдержала «История Фар-Лэпа», которую никто не прочтет без волнения. А сколько «судеб» еще не записано! Что мог поведать о себе Буцефал, конь Александра Македонского, или лошадь Калигулы Инцитатус, которую тот приводил с собой заседать в римский сенат? А Лизетт, служившая Петру I под Полтавой, или Маренго, носивший во многих сражениях Наполеона? Что за жизнь, какова судьба была у лошади, что в 1793 году поступила в Ганноверский драгунский полк, проделала в течение семи лет все кампании в Испании и Португалии, затем была в сражении при Ватерлоо, в 1816 году была передана в гвардейский полк, где оставалась до 1847 года, и, уже переведенная за долголетнюю исправную службу на «пенсию», пала в 1850 году в возрасте, по меньшей мере, шестидесяти лет... Краткая заметка в «Архиве ветеринарных наук» уместила эту биографию, способную развернуться в целую эпопею. Немного найдется, пожалуй, в этом смысле таких лошадей, как Цилиндр, 1911 года рождения, стрелецкой породы. Он служил и у Деникина, и у Врангеля, в Крыму был взят Первой Конной Буденного, где коня тотчас отметили. На нем красные командармы принимали в Москве первые парады. Потом он поступил в завод, где дал начало новой породе лошадей – терской.

– Это не конь, а книга, роман! – сказали журналисты, когда о Цилиндре им рассказал генерал Петр Зеленский.

Это реальные рысаки и скакуны, не считая лошадей символических: Новозаветные всадники Апокалипса, пушкинский Медный всадник, кони Росмехольма у Ибсена, табун в «Радуге» Лоуренса...

В судьбе выдающейся, исторически достоверной лошади обычно тоже воображается «сюжет» – тайна, темнота происхождения и внезапный успех. Бывает. Но ведь и Толстой, и Куприн, сделавшие своих четвероногих героев такими таинственными, писали, зная дело, известны им были и легенды о Мужике-Холстомере или Рассвете, который в рассказе назван Изумрудом, и достоверная подоплека тех же легенд. А неведение писателям если и помогает иногда, то лишь в случае общего незнания, когда никто ничего больше и не знает, иначе – жеманство, поза. Положим, Вольтер сказал Руссо: «Чтобы поверить вашим идеям о естественном человеке, я должен был бы встать на четвереньки». В самом деле, зачем же корчиться, причиняя себе такое неудобство? Но вообще тогда мало знали о первобытности.

Глаза горят, шея дугой, сверкает с отливом вороная масть, грива и хвост взметнулись будто паруса, и конь весь, кажется, готов взлететь; он гордо возвышается над изумленными людьми – так в XVIII столетии изобразил некий французский художник родоначальника английской чистокровной породы арабского жеребца Годольфина: портрет по легендам, в меру славы знаменитого жеребца, пропорционально историческим слухам и сказкам о нем. А где уместятся все эти романтические формы, если учесть, что рост прославленного Годольфина, он же Барб, не превышал ста пятидесяти сантиметров? Уж не говоря о том, что он, возможно, и арабом не был!

Француз-писатель Морис Дрюон в новелле все о том же Годольфине-Арабиане придерживается реальных размеров; он описывает легендарного родоначальника совсем некрупным, особенно рядом с его предшественником и соперником массивным жеребцом Гобгоблином. Однако в остальном, следуя за своим соотечественником Эженом Сю, Морис Дрюон сохраняет романтическую парадность легенды: Годольфин не просто прибыл в Англию из Аравии через Францию – англичанин, мистер Кук, усмотрел его случайно в Париже запря-

женным в водовозку. И, конечно, согласно романтическому сюжету, Годольфин не просто сменил Гобгоблина как производитель: нет, он в смертельной схватке отвоевал эту честь и любовь кобылицы Роксаны!

Внучка Байрона, знаток лошадей, взглянувшая на эти страницы Эжена Сю глазами конника-специалиста, заметила: «У него жеребцы дерутся как козлы, стучаясь лбами. Это понятно: кормилицей Эжена Сю была скотница, ходившая за козами, и он, видимо, хорошо запомнил ее сказки...»

Водовозка – тоже вымысел. Историки-иппологи допускают, что яркие романтические краски в легенду о Годольфине Арабиане добавлены были ради того, ради чего вообще сознательно создаются легенды – ради сокрытия истины, если истина бедна или же ненужна. В данном случае – тайна происхождения, правда о породе Годольфина. Бывает, конечно, что феноменальная лошадь оказывается в случайных руках. Прямо из водовозной бочки был куплен в завод наш знаменитый рысак прошлого века Красивый Молодец. «Из бочки?!» – пронесся слух.

– И началась, – рассказывает бывалый коневод, – «эпидемия» по выпряжке из бочек, ямских дрог и обозов никуда не годных рысаков. Даже Хреновской конный завод поддался моде и купил жеребца, который на Казанском вокзале возил муку. Вскоре, однако, и самого жеребца и весь его приплод пришлось выбраковать из завода: дрянь!

Это вовсе не значит, что в конном деле надо отбросить таинственность и поэзию. Нет, это на самом деле другая поэзия: не дикой вольности, а выдержки и выучки. Ни один мустанг не поспеет за ипподромной лошастью: порода и культура бьют все. Чудес не бывает, если уметь их объяснить, а если объяснения пока нет, то наберитесь терпения – разгадка рано или поздно придет.

Американцы старались создать сказку о лошадиной Золушке, а это, надо сказать, у них самый популярный сюжет: история внезапного и большого успеха. Сказку эту рассказывает и на всевозможные лады пересказывает весь мир. Началось, судя по всему, в шестом веке в Китае, в шестнадцатом дошло до Германии, в семнадцатом – до Италии и Франции, затем уж распространилось по всему Западному миру. Почти четыре сотни вариантов сводились к одному и тому же – из грязи в князи. Так у американцев в книге и в кино была представлена и судьба Си-Бискита, то есть Матросского-Сухаря. Превратили жеребца в символ демократической мечты: поначалу, с рождения, его и за среднюю лошадь не считали, а он стал трижды венчанным. Какой-то несчастный заморыш, вроде как без роду и племени, и поди же – Вор-Эдмирэл, то есть Боевого Адмирала, побил. «И явилась она перед всеми, – как говорится в сказке о Золушке, – не замарашкой-служанкой, а прекрасной дамой...» Что же может быть чудесней и лучше, как в той же сказке сказано? Но это при одном условии: надо верить в существование добрых фей.

Однако в случае с Бискиком-Сухарем лучше не полагаться на веру, а просто знать: на самом деле невзрачный конек был не ублюдком и не пасынком, а принцем крови, пусть не узанным сразу, вроде тех доблестных непобедимых рыцарей, что, выходя на турнир, предпочитали оставаться анонимными. Не выскочка побивал высокородных соперников на скаковой дорожке, а первый среди равных. Оба они, Матросский-Сухарь и Боевой Адмирал, принадлежали к одной и той же линии. У обоих в родословной – Мэн-оф-Уор, иначе говоря, Фрегат, лучший скакун, какого только видел в Америке турф, что означает – почва, скаковая дорожка. Словом, история совсем другая, напоминающая не сказку о Золушке, а про Гадкого Утенка. Как говорил герой классического ковбойского романа «Виргинец»: «Есть равенство, а есть и достоинство». Но это уже гораздо менее популярный сюжет. Предпочитают рассуждать в духе горьковского Луки: дескать, как блошки, все прыгают, а что одни все-таки прыгают выше чем другие, о том большей частью умалчивают.

На наших глазах чуть было не сложилась легенда² об олимпийском чемпионе Абсенте, будто и он если не «из бочки», то, во всяком случае, явился из какого-то небытия. Вспомним, во-первых, что Абсент стоял в Москве на Всесоюзной выставке, куда случайных, «темных» лошадей не посылают, и там его увидел Филатов.

– На лошадь я сначала смотрю в общем, – говорит Сергей Иванович, – каков рисунок? Потом присматриваюсь к движениям. И, наконец, что она может, каковы способности?

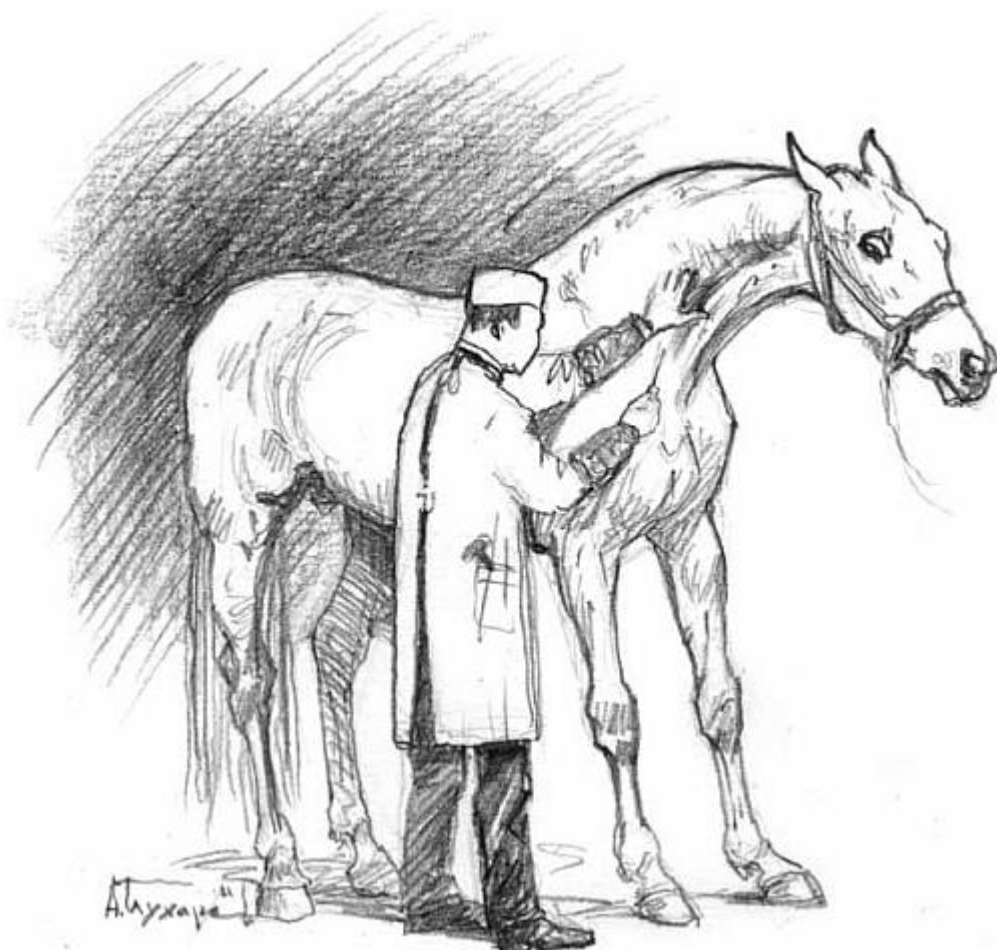
Мастеру нетрудно было рассмотреть, что вороной красавец из Луганского завода по всем трем пунктам стоит на высоком уровне. Все в нем есть. А почему и не быть? Его отец Казбек был участником исключительного перехода Ашхабад—Москва. Это в 1935 году. А в 1945 году именно Казбека за красоту и породность подвели Г. К. Жукову, и маршал принимал на нем исторический парад. Что ж, вполне последовательно: отец на Красной площади в параде Победы, а сын на олимпийском пьедестале почета. Но это еще не все в судьбе Абсента. Прежде чем оказаться в Москве под филатовским седлом, он был выезжен местным, очень опытным старым тренером. Старик не гнался за призами, просто, видя способности лошади, он осторожно стал заниматься ее выездкой. Целым, выезженным поступил к знаменитому спортсмену Абсент, неся в себе, кроме того, силу высокой крови.

Эта «кровь», что, по английскому выражению, «сказывается», то есть порода, составляет для конника наиболее трудноуловимый и самый желанный предмет поиска. И находят! Как, например, итальянец Федерико Тезио верил в сочетание Тенерани-Романела и повторял его в своем подборе из года в год, пока, наконец, не оправдались предчувствия и старый чародей получил несравненного Рибо – «лошадь столетия». Так и Я. И. Бутович предсказывал значение линии Громадного, отца феноменального Крепыша. Таким чутьем среди сегоднешних коннозаводчиков обладает и Сергей Александрович Касименко – в каждом заводе, где он работал, осталась плеяда выдающихся ипподромных бойцов. Однажды мне выпало провести целый беговой день рядом с ним, на этот раз смотрел я не на лошадей, а на Касименко, стараясь уловить, как он на лошадей смотрит: взглядом коршуна – пронзает насквозь. Так что «фантазии коннозаводчика», которые отказался описывать Бодлер, вещи серьезные. Ведь сказал же знаток о Летучем на серовском портрете: «Смотрите, как бы он вас не ударил, если только почувствует к себе недостаточное уважение!»

² Это – легенда о легенде. Прошу, прочтите дальше. Проблема в том, что легенда опровергается и – оживает.

Бравый

«Внук Крепыша...»
«Золотой теленок»



Довелось мне помогать мастеру-наезднику Александру Федоровичу Щельцыну в тренинге всесоюзного рекордиста Бравого. Бравый был очень знаменит сам по себе. Сверх того, приходился он родственником великому Крепышу – праправнучатым племянником.

Крепыш, основная дореволюционная знаменитость в конном спорте, от рождения был нескладный, узкий, цыбатый, то есть негармонично подтянутый кверху на ногах. И вот сложилась, выросла с годами и тренингом из, так сказать, «гадкого жеребенка» выдающаяся лошадь, целая эпоха в коневодстве.

Тогда, к 1910-м годам, вообще наступила пора расцвета рысистого спорта. Впрочем, во многих областях сверкали имена, которые для нас теперь «классика». Кто был авторитетом в литературе? Толстой. В театре? Станиславский, Немирович-Данченко, Москвин, Качалов, Леонидов. Цирк? Дуровы, Поддубный. Как раз 1910 год как особенный рубеж вспоминал Александр Блок: успехи французской борьбы и в большой моде народившаяся авиация... Причем теорию летного дела развивает Жуковский – отец русской авиации, летает Нестеров, наш ранний ас. Итак, если пилот – то Нестеров, борец – Поддубный, а на бегах Крепыш, «лошадь столетия». Серый гигант орловец был достоин своего времени. Тогда и говорили: «Сейчас в России гремят двое: Шаляпин и Крепыш!». Были и другие беговые знаменитости, но Крепыш, одно слово, эпоха. В нем не просто содержались качества выдающегося иппо-

дромного бойца, скажем, резвость, выносливость или сила, а была в нем индивидуальная одаренность. Есть специальные старинные лошадиные стихи:

*Как-то раз перед ездою,
В злой придя задор,
Рысаки между собою
Учинили спор...*

Призовые рысаки обсуждают друг друга. Задели Слабость, а Слабости удалось однажды побить Крепыша. В тот день Крепышу пришлось бежать дважды – на рекорд и во Всероссийском Дерби. Напряжение сказалось, и на финише Слабость объехала серого великана. Память об этом заключает для нее все самое героическое и счастливое в жизни. «Не забуду я до смерти...» – так вспоминает она об этой удаче, когда ее обижают намеком на невысокий класс.

Стихи эти я услышал от Щельцына. Мы везли с ним Бравого в Одессу, где лошади в мягком и сухом климате бегут обычно на несколько секунд резвее, чем в Москве. Кроме того, Одесский ипподром имеет дорожку с длинными прямыми, что дает дополнительный выигрыш в резвости.

Так же, как Крепыш, серый и большой, Бравый, выражаясь иппически, иначе – лошадиному, был необычайно крупен и породен. Он имел рекорд на 1600 метров две минуты семь секунд, и желательно было, чтобы в Одессе он секунды три-четыре скинул.

Мы тянулись херсонскими степями в товарном вагоне с надписью «Живность». Была жара. Дверь держали открытой. Александр Федорович, сидя на кипе сена, читал стихи про лошадей. Когда очередь дошла до Слабости, он весь проникся ее восторгом, с каким рассказывала она о схватке с великим героем: «Не забуду я до смерти...»

Поезд временами двигался так медленно, что можно было шагать рядом с вагоном. Бравый томился и вдруг начинал стучать в пол тяжелым копытом. Щельцын понимал его и старался чем-нибудь отвлечь. Мы растирали ему плечи, бинтовали сухожилия. На разъездах возле нашего вагона собиралась толпа. Ее начинал, как правило, проходчик, который торопливо бил длинным молотком по колесам. Неожиданный стук копыт заставлял его поднять голову. Он останавливался, пораженный великолепием зрелища.

Так открывается взору в первый раз Эльбрус.

Бравый смотрел свысока на обращенные к нему с восхищением лица. Все восхищало: – И ноги, и ноги забинтованы!

Щельцын с воодушевлением миссионера, обращающего неверных, вещал из дверей вагона:

– Бравый, всесоюзный рекордист, от Бравурного и Куртины, Первого Московского конного завода...

В Одессе с товарной станции я вел Бравого через город до ипподрома верхом. Домой в Москву можно было написать, что вот – въехал в Одессу на белом коне...

Дальше, однако, все пошло не так уж помпезно и победно. Бравый обретал, правда, постепенно порядок после дороги и на пробных работах ехал хорошо. В последнюю прикидку – Щельцын на Бравом, я на гнедом Конкурсе, которого тоже привезли для улучшения резвости, – из поворота мы выпустили всю и, когда миновали столб, тренер, сжимая в руке секундомер, таинственно спросил:

– Ездил когда-нибудь так резво?

Александр Федорович раскрыл кулак и с торжеством показал стрелки: четыреста метров в тридцать секунд. Если так ехать круг, две минуты. Это надо понять! Конечно, по

дистанции скажется утомление и выйдет тише, но все равно такая работа давала большие надежды.

Пробный приз Бравый выиграл без борьбы, объехав местных резвачей. На этот раз он легко повторил свое московское время. Теперь езда на удар – решающая.

– И запишу обоих, – говорил Щельцын, – и Бравого, и Конкурса. Поедешь на Конкурсе.

А начались дожди. На Одесском ипподроме это гибель. Дорожки – месиво, на колесах – пуды липкого чернозема. Мы все равно, как могли, поддерживали Бравого массажем и шаговыми работами. Я ездил на нем под седлом. В это глухое время конюх Кузьмич, который был с нами, отпросился к брату в Николаев. Я остался один и за помощника и конюшить с тремя жеребцами. Был еще вороной Кунгур.

Опять подошла маховая, контрольная работа. В шесть утра, как обычно, я дал овса. Беда еще была в том, что овес оказался у нас пополам с пшеницей, тяжелый для лошадей корм. Мы давали осторожно, но все-таки кормить-то надо при такой нагрузке! Боюсь, что тогда я слишком щедро насыпал Бравому. Но корм после резвой был легкий: не овес – каша из отрубей. А что если кто-то из конюшни соперников раньше времени дал ему напиться? Во всяком случае, когда уже после работы и после обеда, на который мы ходили с Александром Федоровичем по очереди (один всегда оставался в конюшне), я вернулся, во дворе стояло плотное кольцо людей. В середине – Бравый: как гибнущий гигант, он беспомощно оседал на задние ноги. Облегчал себе перед: передними ногами от боли ступить не мог.

Самый ужас – ревматическое воспаление копыт, что называется «опой». Лошадиное сердце – сильный мотор – отличается одной слабостью: оно беззащитно, если не вовремя или чрезмерно дать воды. По устройству своему сердце лошади не успевает «перекачивать» жидкость, и вода устремляется в конечности, книзу. Набухают кровеносные сосуды «венчики» – у самых копыт. Оттого Бравый и не мог сделать шагу, потому он и старался высвободить от тяжести собственного могучего тела передние ноги.

Подобно Крепышу, Бравый отличался роковой неудачливостью. Не то что вдруг не повезло, а именно в тот момент, когда решается судьба, его постигает неудача. Потом или до этого он может нечаянно творить чудеса, но в роковой момент, в минуту судьбы, когда в одну точку сведено все: успех, слава, принцип, история – он проигрывает. Так, Крепыш имел множество почетных призов, установил на всех дистанциях рекорды. Некоторые из них держались более двадцати пяти лет. А его время на три версты (3200 м) по ледяной дорожке зимой оставалось непобитым полвека. Только Бравый и улучшил его. Но Дерби, приз призов, Крепыш проиграл Слабости, Интернациональный приз – американскому рысаку Дженераль Эйчу. Потом он мог, шутя и играючи, объехать тех же соперников, но в роковой момент ему не везло.

Бравый и в этом отношении был похож на своего знаменитого предка.

Помню как упустил он Дерби.

Дерби во всякой стране, где есть конный спорт – это все. Были наездники необычайно прославленные, но, если в списке их блестящих побед за всю призовую карьеру не значилось Дерби, то они оставляли свое поприще с удрученным сердцем. Само название и значение приза идет, как вообще многое в конной терминологии, из Англии, где в конце XVIII века лорд Дерби учредил приз своего имени для трехлетних скакунов. С присущим им консерватизмом англичане из года в год строго поддерживали все те же условия розыгрыша Дерби – дистанцию, грунт, время года. Сто лет назад и сейчас лошади скачут на Дерби в Эпсоме при неизменных условиях, поэтому Эпсомское Дерби служит абсолютным мерилom достоинств чистокровных скакунов от века к веку. Приз стал классическим и приобрел таким образом первостепенное значение. И в других странах основной приз сезона называют условно Дерби. Даже если такому большому призу дается свое, национальное название, например в Америке – Гамлетониан или у нас – Большой Всесоюзный, то дополнительно все равно

указывается, что по классу это Дерби. В тот год Бравый считался фаворитом, ведь Зимний Большой приз был за ним. Все ждали его.

– Давно, давно на бегах не появлялось такой лошади, – говорил один старый наездник, для которого бывшее беговое – его жизнь.

На работе Бравый уже показывал тогда резвость, близкую к рекордной. А утром в день приза пошел дождь. В Москве грунт другой, чем в Одессе, ехать можно. Некоторые лошади по грязи, потому что мягче, бегут даже лучше. Был случай, старик Алпатыч однажды ходил накануне приза под дождем по ипподрому и не хуже седого Лира просил стихию: «Лей! Лей!» Дождь послушался, и на другой день Алпатыч мчался на своем Контакте, как паровоз, и выиграл вне конкуренции.

Не то Бравый.

Массивная лошадь, он полз по сырой дорожке. Чеканный ход его нарушился. Копыто вязло и скользило. Небольшой Подвиг легко побил его. Все растерялись. Чувствовали – несправедливо! А что поделаешь?

И вот опять Бравый бессилен перед несчастьем, обрушившимся на него. Щельцын с какой-то одеревенелой выдержкой осматривал его. Я знал за Александром Федоровичем это качество: при бедах, которых в жизни его было довольно, он изнутри напряжинивался и так непроницаемо застывал...

* * *

Лучшие свои годы, время расцвета, Щельцын провел в ссылке. Классный молодой мастер оказался далеко от столичного ипподрома, где одержал крупнейшие победы, в том числе выиграл советское Дерби, Большой Всесоюзный Приз. Что же ему инкриминировали? Контрреволюцию – таков был приговор, который задним числом острословы-смельчаки уточняли: «среди лошадей». На самом деле, какова бы ни была официальная мотивировка ареста и высылки, то был результат закулисного соперничества среди наездников. Иные из них, кому не везло в призах, брались уже не за вожжи, а за перо, чтобы строчить доносы – обычная практика тех времен, какую область нашей жизни ни возьми. Мне выпало знать и тех, на кого клепали, и тех, кто клепал. Доброхоты строчили, поставляя сырье для сыскной промышленности, у которой, как у всякой отрасли планового хозяйства, имелись свои нормативы выработки.

«Сознавайся, чем же ты лошадь зарубил – топором?» – так во время допроса еще одного мастера, тоже ставшего жертвой политического навета, был истолкован конюшенный термин «зарубка» или «засечка». Кто донос писал, тот, разумеется, знал: это ссадина на ноге, лошади наносят такие незначительные увечья то и дело самим себе ударом копыта, однако, автор доноса, вероятно, не счел нужным пояснить, что значит «зарубил» на ипподромном языке, а кто допрашивал, тот, и не думая до сути доискиваться, увидел в доносе что и требовалось усмотреть – порчу социалистической собственности, иначе говоря, вредительство. Этого наездника все же отпустили, но не потому, что ему удалось устранить семантическое (смысловое) недоразумение, нет, ценой поклепа на собрата-конника: а тот, еще одна жертва, наложил на себя руки и в предсмертном письме завещал, чтобы уцелевший, но ставший клеветником на похороны его не приходил.

Щельцын рассказывал: незадолго до ареста один знакомый, любитель бегов, взял у него почитать редкую книгу «Мыслящие лошади». Взять взял, а не вернул – не успел, его самого арестовали. Это был автор «Конармии» Исаак Бабель, свой человек в ЧК, ОГПУ и НКВД, именно эти связи и довели его до трагического конца. Удивительным образом та же книжка, судя по некоторым признакам, все тот же самый экземпляр, попала мне у букини-

ста, и со временем я отдал ее книголюбу-коллекционеру, поклоннику Бабеля, теперь эта библиографическая редкость хранится за океаном в библиотеке Института революций и войн.

Эта небольшая книжка, основанная на истории Умного Ганса, была написана супругой крупнейшего генетика Николая Кольцова. Знаменитый ученый, поддерживая идею о способности лошадей мыслить, поместил об этом пространную статью в авторитетном журнале «Природа». Однако Умный Ганс как «мыслитель» оказался разоблачен, да и всякий имеющий дело с лошадьми профессионал вам скажет, что это чепуха, но на всякого мудреца довольно простоты, и, видно, выдающийся естествоиспытатель поддался женским чарам и чересчур очеловечил лошадей. Ведь кто знает, почему новобранцу в рассказе Бабеля не подчинился чужой конь, а на меня бросилась не моя Прелесть? У лошади не спросишь. Допустим, похоже на сердечную привязанность к своему хозяину, а чем объясняется неприязнь к чужому человеку? Может, запах непривычен – пугает. Этолог Конрад Лоренц утверждал: лучшим литературным описаниям «чувств и мыслей» животных, как у Киплинга, нельзя не верить, однако и верить не следует: пантера вроде Багиры из рассказов о Маугли на самом деле так не только не говорит, но и не думает.³

Основоположник отечественной экспериментальной биологии Кольцов так же отстаивал науку, впоследствии объявленную псевдонаукой, об улучшении породы людей. Над этим, как мы знаем, посмеялся Михаил Булгаков в повести «Собачье сердце», и тогда же повесть подверглась запрету. В чьих интересах был наложен запрет? Партия и правительство были против? Завал из книг, в названии которых стояло неведомое мне слово ЕВГЕНИКА, я обнаружил у тетки моей, учительницы с шестидесятилетним стажем, испытывавшей на себе все, какие только можно было испытать, превратности в экспериментах над нашим образованием, и на мой вопрос, что за штука «евгеника», тетка отвечала: «Нас заставляли это изучать и пропагандировать». Еще бы не заставлять! Речь шла о выведении лучших в мире граждан, советских, об этом писал Кольцов, так же, как, поддерживая жену, писал он о способности непарнокопытных, что твои человеки, шевелить мозгами. А разве с таким крупным научным авторитетом поспоришь?

В те же годы готовились лететь на Луну, а также воскрешать всех мертвых, и беда заключалась в том, что лететь и воскрешать нередко собирались одни и те же энтузиасты. Разобраться, где сбыточное, а где несбыточное, что есть прозрение, а что просто бред, было нелегко. Наряду с научными открытиями, визионерски-утопические проекты, обещавшие сказку сделать былью, тогда выдвигались в несметном количестве, и всякий слишком смелый замысел был пробиваем любыми средствами. При жестком и сквозном партийно-государственном контроле, который назывался диктатурой пролетариата, всякий прожектор действовал соответственно в том же духе, диктаторскими методами. Сплошной террор! Сторонники свободы в искусстве старались переубедить своих оппонентов, упрятав их за решетку, как порывался сделать режиссер-реформатор, сам павший жертвой репрессий, Мейерхольд. Строитель интернациональной башни художник-дизайнер Татлин отстаивал свою идею с пистолетом в руке, я слышал это от тех, кого он брал на мушку, пока пистолет у новатора не отобрали. Согласно замыслу Александры Коллонтай, известной либертинки и феминистки, близкой к правительственным кругам, моему будущему тестю, инженеру-строителю Михаилу Васильевичу Палиевскому, было дано указание без рассуждений воздвигнуть Дворец безбрачия. Дети во вместилище свального греха должны были считаться общими, коммунистическими. Партия велела – Комсомол ответил «Есть!» Тесть, мастер своего дела, приказ выполнил, отгрохал капище «любви пчел трудовых» (так назы-

³ Уже в 1970-х годах «феномен Умного Ганса» был подвергнут новой экспертизе, проделанной американцами Томасом Себеоком и Робертом Розенталем, их книга была издана Американской Академией Наук, а у нас на неё откликнулся чл. корр. А. И. Китайгородский. Он занес «феномен Умного Ганса» в разряд тех явлений, которые назвал чеховским словом «Реникса», на латинский манер прочитанная «Чепуха».

валось программное сочинение Коллонтай), но здание не успели заселить согласно передовому идеалу, началась война, Смоленск оказался оккупирован, тесть и вся его семья были угнаны в нацистский трудовой лагерь, а после войны нравы у нас переменились, и добротное само по себе сооружение использовали то как тюрьму, то как гостиницу.

Ныне, глядя в наше недавно минувшее прошлое, историки, добравшиеся до источников, советуют не торопиться в желании отделить овец от козлищ, чистых от нечистых, правых от виноватых. В самом деле, в Институте мировой литературы, где я работал, судили судом чести сотрудника, оказавшегося доносчиком. И что же выяснилось? Да, доносил, но его доносы были реляциями лояльного советского гражданина, слышавшего недозволенные речи. А жены его жертв писали в инстанции, требуя расправы над своими мужьями! И почему писали? Потому что хотелось им избавиться от мужей, а наездникам-неудачникам хотелось получить в свои руки тренотделение. Все больше самых разных историков приходят к одну и тому же выводу: борьба шла волнами, отливами и приливами, по принципу «сегодня ты, а завтра я», жертвы, павшие во взаимосокрушительной борьбе роковой, были не агнцы безвинные, а слабейшие, не выдержавшие схватки за существование, но если бы те же павшие вышли победителями, то попасться им в лапы был бы вовсе незавидный подарок судьбы.

Совершающаяся сейчас по справедливости реабилитация уже не раз мной упомянутого Я. И. Бутовича сопровождается созданием легенды о нем, жертве советской власти. А он оказался жертвой борьбы за власть, подоплекой его падения был правительственный фаворитизм, прежде всего у Троцкого, и пользовался до поры до времени удачливый представитель старого режима нововельможным благорасположением всюду. Бутович вел себя большим барином, высокомерно третируя и унижая собратьев-конников. В результате он стал жертвой собственного характера, это я слышал от людей, знавших и ценивших его – выдающегося коннозаводчика. Как знатока лошадей они превозносили незабвенного Якова Иваныча до небес. А сочувствие – выражали они сочувствие ему, несправедливо загубленному? Нет, они давали понять, что сам виноват – накликать на себя беду нетерпимостью к мнениям каким-либо еще, кроме тех, что совпадали с его собственными. К удовлетворению им обиженных или несогласных с ним, его и загнали в Соловки, как только сошли со сцены его партийно-государственные покровители.

По незрелости, полвека тому назад, я был неспособен уместить в сознании противоречивые, мне казалось, несовместимые положительно-отрицательные оценки яркой личности. Одно из двух: либо это был замечательный заводчик и прекрасный во всех отношениях человек, либо заслуживающий не лучшей участи «ар-рап», как друзья – они же! – его аттестовали, проще говоря, прохиндей. Согласно с романтически-реставрационным умонастроением, овладевшим мной в те годы, безусловную хвалу Бутовичу я выслушивал, а столь же очевидное несочувствие ему пропускал мимо ушей. Зато теперь, с годами, противоречивость-то и проступает в памяти как приговор самой истории: несчастный властолюбец хотел того, что получил – власти, и пользовался ею, пока она была у него в руках. Думал ли он о возмездии? Бутович (и Бухарин, и Виктор Серж, и вообще никто из попавших под колесо послереволюционной истории) себя о том своевременно не спрашивал. Если, наконец, спросил, то когда было уже поздно: испытывшие на себе его властолюбие, как видно, сочли, что по справедливости пришла их очередь взять реванш.

В книге мемуаров «Погружение во тьму» (первоначальное название «Под конём»), беспристрастно и сочувственно представил Бутовича человек того же социального круга, попавший вместе с ним в лагерь, Олег Волков, которого я тоже знал. Но Олег Васильевич все-таки, мне кажется, представил Бутовича чересчур большим барином. Бутович был истинно большим знатоком лошадей, а большого барина из себя корчил, как достойные доверия люди говорили о нем, объясняя, почему он пострадал. Как персонаж, Бутович, фигура

несомненно красочная, под разными именами фигурирует у Михаила Булгакова, Пантелеймона Романова и Петра Ширяева. Однако никто из них не сообщает, что жизнь его осложнялась еще и гомосексуализмом, сам же он в мемуарах говорит об этом до того глухо, такими обиняками, что если бы я от современников о том не слышал, то едва ли смог бы понять, о чем идет речь. Словом, судьба Бутовича – эмблема времени, о котором представление полное ещё только предстоит получить.

* * *

...Щельцын, глядя на страдающего Бравого, ничем не выдавал своего расстройств, и только когда ветврач принес шприц, наездник при виде огромной иглы зажмурился.

Впрочем, прежде решили сделать клизму. Я сказал, что, может быть, это «завал» в кишечнике от тяжелого зерна. Откуда же взяться опоя, если я подпаивал глотками и вываживал? Ввели шланг, влили воды, вытащили.

– Р-р-разойдись! – скомандовал собравшимся ветврач в ожидании результата. Но заметного действия не было. Оставалось пустить кровь.

– Какая же игла! – простонал тут Щельцын и сомкнул глаза.

– Возьмите губу, – велел мне ветврач.

Я взял Бравого за верхнюю губу между ноздрей, за теплый и мягкий нос, впившись как можно крепче ногтями, и даже скрутил немного, чтобы этой болью отвлечь жеребца от еще большего страдания и заставить стоять, пока сделают укол. Иначе он раскидал бы всех нас.

Бравый тоже закрыл глаза.

Ветврач нащупал на шее вену, коротко и сразу ударил в нее иглой. Вырвалась темная струя. На светло-серой шерсти она выглядела особенно резко. Подставили большую колбу и взяли поистине лошадиную дозу крови – литра четыре. Тут же полегчало. Бравый стал переступать ногами, и я смог отвести его в конюшню. Вечером он уже ходил спокойно. Но боевые кондиции были надолго потеряны. Потом погода окончательно испортилась. Какая тут езда! Так мы и остались без рекорда.

Ныне уже бегают дети Бравого. Когда он, ветеран, отмеченный дипломом 1-й степени, стоял в Москве на Выставке достижений народного хозяйства, я пошел его повидать и разглядел на шее с левой стороны отметину, куда били страшной иглой.

Почему проиграл Крепыш

«Лошадники старого поколения могли описать по секундам, как сложился исторический бег Крепыша...»

Из воспоминаний Олега Васильевича Волкова



Слова «Крепыш отличался роковой неудачливостью» однажды мне уже удалось напечатать, и тотчас из разных концов пришли письма: «Нет! Крепыш был поразительно удачлив...» Из разных концов страны, я говорю не фигурально, а в самом деле, и не затем, чтобы придать значения своим словам, а чтобы видно сделалось: есть еще к этому интерес! Уж я привык, упоминая кличку короля русских рысаков, слышать «А-а, внук Крепыша...» – из Ильфа и Петрова. Оказалось, живут этой памятью, этой болью знатоки-любители и знают, в чем дело тут, о чем идет речь, что за вопрос решается.

«Дела давно минувших дней...» Однако они волнуют нас, они требуют от нас оценки истинно исторической. У Крепыша была «судьба», он оказался достойным современником своей эпохи, и в нем, в сплетении человеческих страстей и судеб вокруг него отразилась та эпоха.

Крепыша, рассказывают, вели из конюшни на ипподром целой процессией: впереди охрана из двух вооруженных черкесов, затем под попоной и с двумя конюхами по бокам

– серый великан, а следом владелец и наездник. Из тех, кто так близко окружал Крепыша, в живых, насколько мне известно, не осталось никого. Но все-таки я говорил со многими очевидцами призовой карьеры «лошади столетия», слушал непосредственных свидетелей подвигов серого. Кроме того, существует целая литература о Крепыше: газеты, журналы того времени, сохранившие на своих страницах весь шум вокруг Крепыша, и, наконец, две «биографии», составленные прежним владельцем «короля русских рысаков» – Михаилом Михайловичем Шапшалом.

Разбирая казус с Крепышом, никому нельзя верить более чем автору этих двух книг, ибо история Крепыша – его жизнь. И по той же причине никому из писавших о Крепыше не приходится верить с большей осторожностью, чем такому автору. Да, он решал и свою судьбу, рассказывая о Крепыше, а потому речь его не могла не быть в каждом слове страстной. Известно, что люди, хорошо знающие факты, создают особенно правдоподобные легенды.

С убедительной откровенностью рассказывает Шапшал, почему не был Крепыш победителем Всероссийского Дерби. Однако сбивчиво и неполно излагает он обстоятельства исторической схватки Крепыша с американцами в Интернациональном призе 1912 года. И тогда Крепыш проиграл, причем совершенно очевидно, по вине тех, кто распоряжался им.

Есть ситуации, которые говорят сами за себя, заметил однажды Александр Блок. Крепыш в руках Кейтона – одна из таких красноречивых и в то же время необъяснимых ситуаций. Согласитесь, положение парадоксальное: гордость русского коннозаводства, главный, так сказать, принципиальный соперник американских рысаков находится у них же в руках, у американцев. Судьбу Крепыша в то время, когда его победа или поражение означают преимущество или пас перед американским рысаком всей орловской породы, решает американский наездник.

Тогда говорили, писали: «Как же так?», теперь мы задаемся тем же вопросом. Формальные обстоятельства известны: владелец передал Крепыша в езду Кейтону потому, что это был мастер. Но разве здесь могут быть отдельные причины, если ситуация в существе своем оказывается противоестественной?

Крепыш был из коней конь, иначе говоря, им увенчалась, в нем выразилась вековая работа русских заводчиков. Тем более обостряются все вопросы наши о судьбе «лошади столетия».

Американский рысак вторгся в Россию на рубеже XIX и XX веков. Как по линии национальной, культурной, так и в коневодстве сложились две большие партии «славянофилов» и «западников». «Западники» всячески поощряли ввоз американских рысаков. За одно с ними держались «метизаторы», проводившие скрещивание американцев и орловцев. Патриоты стояли за сохранение в чистоте орловской, нашей исконной породы. Спор, логически не разрешимый. Кому отдать преимущество?

До последних десятилетий XIX века орловский рысак сохранял за собой безусловное первенство не только у себя на родине, но во всем мире, там, где только занимались бегами. Ни норфолькский, ни нормандский рысаки не могли ему составить серьезной конкуренции. Считалось, что и американские рысаки уступают орловцам. Правда, состязание орловцев с американской резвостью было заочным – по секундам: американских рысаков, тем более классных, в Европе тогда не было: трудна доставка! Но вот соперник из-за океана явился непосредственно. Внешне он не выдерживал никакого сравнения с орловским рысаком. Каких только характеристик самого нелестного свойства ему не давали! «Тяжелая голова, оленья шея, плоские ребра, длинная спина, плохие плечи, задние ноги, как у зайца», – это писал не русский – английский конник, специально объехавший конные заводы Америки в начале 1900-х годов. «Кажется, будто эту лошадь стиснули между двух досок и растянули

во все стороны», – возмущался другой знаток. И следовал град все тех же упреков: «шея торчком, спина несоразмерно растянута и седлиста, ребра ниже всякой критики и т. д. и т. п.»

Вскоре, однако, «уродливое животное» заставило умолкнуть многие критические голоса. Резвость была слишком очевидна. Выходило, что та же «оленья», то есть прямая, без лишнего изгиба, будто воткнутая в туловище и с прямо посаженной головой шея, обоглачивалась преимуществом, а не пороком. Она облегчала дыхание, не ставила ему преград, как получалось при красивых, «лебединых шеях» орловских рысаков. Точно так же и длина американского рысака и ребро – все находило практическое оправдание.

Граф Орлов, как известно, не старался вывести специально спортивную породу. Ему было не до развлечений, когда в момент мятежа вез он Екатерину, и австрийские каретные кони измотались и что называется встали в обрез. Запомнив надолго этот урок, он создавал универсальную дорожную лошадь, которая годилась бы в экипаж, под седло, в плуг, в борону, шла бы в городе на параде, в поле, была бы сильна, резва, породна: «в подводу и под воеводу». Американский же рысак был выведен исключительно для ипподрома, для спида – резвости. Он не знал никакой другой дороги у себя под ногами, кроме идеально ровного круга, не вез большей тяжести, чем легчайшая двухколесная качалка с наездником.

Сравнивать орловских и американских рысаков в девятнадцатом веке было затруднительно еще и потому, что слишком разнились условия их испытаний. У нас бегали в дрожках под дугой, долгое время не по кругу, а «концами», на старте пускали не с хода, а с места, испытывали по большей части на длинные расстояния. У американцев же были легкие сулки, то есть качалки, весом с велосипед. Применяли янки множество приспособлений, главным образом разнообразную «обувь», защищающую ноги от ударов подковами на полном ходу. Дистанция – миля-полторы, иначе говоря, до двух верст (2400 м), не более. Однако мало-помалу условия выравнивались. Мы принимали стандарт, распространившийся по всему миру, и решительная схватка становилась неминуемой.

Серый великан Крепыш, от Громадного и Кокетки, завода Афанасьева, был гордостью и надеждой убежденных патриотов. Он превосходил по классу всех современных с ним рысаков: и орловцев, и метисов, и бежавших в России американцев. Владелец его даже полагал, что если бы повезти Крепыша в Америку и прикинуть его на ипподроме в Лексингтоне, где ставились мировые рекорды, то свое время 2 минуты 8 секунд на полторы версты он подвел бы к двум минутам, то есть к результатам класснейших американцев. Во всяком случае, рассказывает Шапшал, когда он попробовал предложить американскому тренеру Биллингсу, приехавшему в Россию для демонстрации своих рысаков, их решающий матч с Крепышом, Биллингс уклонился, сославшись на трудности перенесенного пути и тяжесть московской дорожки.

* * *

Недалеко от Нью-Йорка, в музее, который называется Залом Рысистой Славы, выставлены дары, привезенные Биллингсом из России – кубки, ковши, подносы и, если не изменяет память, самовар: золото, серебро, чернь, ничто не потускнело, все сверкает, излучая безудержный восторг, разумеется, прежде всего тех, кто стоял за метизацию, и хотя преподнесено это было от всероссийской рысистой общественности, но во главе общественности тогда стояли метизаторы. Смотришь на блеск, отражающий взаимосокрушительную борьбу, и задаешься вопросом: неужели тем и другим не достало в России места? Не принципы сталкивались, а люди мешали друг другу.

У входа в Зал Рысистой Славы – мемориальная доска: музей своим нынешним процветанием обязан обувному «королю» и крупнейшему коннозаводчику Лоуренсу Б. Шеппарду, тому самому, чьи рысаки так и носят двойные клички с приставкой «Гановер». Название,

унаследовано конным хозяйством от принадлежавшей Шеппарду обувной фабрики, а фабрика получила название от города в штате Пенсильвания, там и ботинки делали, и разводили лошадей, город же был назван в честь немецкого происхождения английских королей: при них шла активная колонизация Америки, и при той же ганноверской династии вспыхнула Война за Независимость, так что Ганновер это символ двуликий – связи и разрыва Старого и Нового миров.

Сорок пять лет тому назад Шеппард приезжал к нам, чтобы отобрать семерых полуторников в обмен на жеребца своего же завода – Апикса Ганновера. Не успел он приехать, как на другой же день на его имя к нам на ипподром поступила телеграмма «Джимми разбился насмерть автокатастрофе». Директор Московского ипподрома, Долматов, расписавшийся в получении срочной депеши, узнав о ее содержании, издал стон раненого носорога. Кто это – сын, внук? Горе есть горе – как не сострадать? Но директор предвидел последствия и для всего предприятия, выстраданного им, вынесенного на своем горбу. Сколько муки наш директор принял, организуя, пробивая по инстанциям этот обмен и этот визит! Кто жил тогда, у того, я уверен, мурашки по коже должны забегать.

«Семь советских рысаков за одного американского?!» – эту демагогию Долматову приходилось преодолевать на всех уровнях, снизу до самого верха. Правда, Буденный, которому ничего не надо было объяснять и доказывать, сразу сказал, прибегнув к выражению образному: «За семь прутиков можем получить первоклассную большую палку, которой будем бить кого попало». Но Семен Михалыч был уже не тот, не у дел, а кто заправлял делами, тот не очень понимал, велика ли разница между жеребцом и жеребенком-полуконником.

Обивая пороги один выше другого и добравшись в конце концов до самого верха (иначе никакой вопрос не разрешался), бывший Красный кавалерист, ветеран Первой Конной, Долматов до того измучился и обессилел, что у дверей министерского кабинета задремал, сраженный сном, и едва не проспал вызов на долгожданную аудиенцию. Ценой пролитого пота и попорченных нервов разрешение на обмен было получено, и вот, того гляди, все пойдет насмарку. Телеграмма и самого старика, чего доброго, на тот свет отправит или же, по меньшей мере, хватит его удар. Уж во всяком случае, убийственную депешу прочитав, повернется и тут же улетит обратно к себе домой. Прощай, Ганновер!

Два дня думали: сообщать – не сообщать? Показывать или придержать смертоносное сообщение? Наконец Долматов дал приказ «Показывай!» Было это в директорском кабинете, сиявшем скульптурами Лансере и полотнами Самокиша. Шеппард – копия Маркиановича (А. М. Волошинова), директора циркового училища, находившегося через дорогу от ипподрома. Большеголовый ушастик с носом вроде рудиментарного хобота, какой был у киплинговского слоненка, прежде чем до нормальных размеров этот нос растянул крокодил, он только пробежал глазами под напряженнейшим взглядом Долматова телеграмму, и раздался трубный глас торжествующего слона: «Я говорил! Всегда говорил, этот стервец и бездельник плохо кончит».

Словно «Серенаду Солнечной Долины», директор ипподрома выслушал этот вопль, хотя и сожаление выразил о погибшем, кто бы он ни был. Оказалось, это – племянник, вкоонец испорченный, избалованный парень, погубил не только себя, но и всех приятелей с приятельницами, приглашенных прокатиться в только что купленной ему роскошной скоростной машине.

«Время водку пить! – протрубил Шеппард. – Пошли!»

И мы пошли.

А жеребят он отобрал, одного к одному, в точности тех самых, какие ему до того уже были нашими знатоками предназначены. Приехал он, как выражался Герцен, кругом подкованный, по-летнему и на шипы. Но его хотели проверить. Проверили и, как бы в признание безошибочности его экспертизы, показали ему маточный табун Первого завода.

При виде наших кобылиц Шеппард потребовал у меня лист писчей бумаги, словно им овладело поэтическое вдохновение. Блокнота со мной не было (я тогда еще ничего не записывал), а Долматов прошипел: «Конец тебе, если сейчас же какого-нибудь листочка не найдешь, а еще научный сотрудник!» У меня в кармане лежало письмо на имя Директора Института Мировой литературы, которое я не успел перевести, я оторвал от него угол, где не было текста, и подал Шеппарду. На седле табунщика обувной король-коннозаводчик разглядел бумажный клочок, из своего кармана достал королевскую авторучку и накарябал: «Обязуюсь двух маток из этого табуна покрыть своими лучшими жеребцами и приплод вернуть вместе с кобылами». Говорят, Сталин, когда Трумэн ему сообщил об изобретении сверхмощного оружия – атомной бомбы – вида не подал, будто подобное заявление хоть сколько-нибудь на него подействовало, так и Долматов, узнав о сути данного обязательства, не изменился в лице, а только обращаясь ко мне, прошипел: «Спрячь! Потеряешь – тебе конец».

Перед отлетом двойник директора циркового училища загудел:

– Что мне с вашими деньгами делать?

Тогдашние наши рубли, выданные Шеппарду на время визита, не подлежали ни вывозу, ни обмену – такие были у нас порядки.

– Купите себе меховую шапку.

– Я уже купил.

– Купите еще.

– У меня только одна голова.

– Тогда купите матрешку.

– Сколько можно покупать этих крашенных кукол?

Словом, ситуация безвыходная.

– Знаешь что? – вдруг говорит, обращаясь ко мне, Шеппард, – я отдам эти деньги тебе, а ты купи себе билет и прилетай ко мне в гости, а я покажу тебе своих жеребцов.

– Возьми, возьми! – зашипел Долматов. – А не то с этими рублями его на таможне задержат, и нам же влетит.

«Воля ваша, товарищ директор, – заговорил мой внутренний голос, – но уж не обессудьте, если одно из тренотделений на вверенном вам ипподроме довольно надолго выйдет из порядка».

Шеппард еще не успел уехать, а про Аликса, который в результате обмена стал нашей собственностью, уже начали говорить, что он мал ростом. «Когда он побежит впереди всех и будет первым у финишного столба, он никому маленьким не покажется», – отвечал обувной король, он же коннозаводчик, не сделавший, выбирая жеребят, ни одной ошибки. В самом деле, мало того что на нашей дорожке в руках Вильяма Флеминга этот рысак, действительно небольшой, имевший обыкновение на ходу отбрасывать задние ноги вбок из-за слишком мощного напора, побил большую международную компанию и выиграл Приз Мира, но, как и предсказывал Буденный, во Франции тот же конек-горбунок взял Приз Парижа. А коньком-горбунком Аликса-Гановера называли долматовские завистники-злопыхатели. Называли за малый рост, не взирая на то, что конек-горбунок летел впереди всех и был первым у столба.

«Патриотизм есть последнее прибежище негодяев», – говорил Сэмюэль Джонсон, литературный авторитет XVIII столетия. За ним это повторили Толстой и Марк Твен. Речь все они вели не о любви к Родине – о злостной демагогии. Мне известно, как это бывало. Жертвой такой же демагогии оказался мой дед-воздухоплаватель. Его, инженера-авиатора, принимавшего участие в строительстве первого русского авиационного завода и выпуске первого серийного самолета «Россия-А», объявили лжеученым и безродным космополитом. На каком основании? Будто бы он не признавал наших отечественных приоритетов. Нет, не

признавал он приоритетов ложных, выдуманных. «Они не признают, – говорил мне дед о своих супостатах, – наших истинных достижений».

Американский рысак за границей выиграл под нашими цветами и под управлением нашего мастера П. А. Лыткина. «Меня письмом уже поздравили с выигрышем Приза Парижа моим учеником, – писал мне Тюляев. – За все годы моей преподавательской деятельности Павел Александрович Лыткин производил на меня наилучшее впечатление».

У нас на ипподроме по сумме трех гитов Апикс-Гановер в руках Флеминга выиграл Приз Мира, но первым в третьем гите оказался Корвет под управлением Лыткина. Ему и поручили езду на Апиксе в Париже. Признание окружало Лыткина на исходе его беговой карьеры. Как ехал он на Апиксе в Париже, знаю от него самого. У меня перед ним особый долг. По просьбе своего друга, моего наставника Грошева, Павел Александрович вышел к старту и давал мне советы; тогда я выиграл единственный раз в жизни. С тех пор отношения между нами установились вполне доверительные, и после Парижа он мне сказал: «На такой лошади никогда не сидел!». Объяснение: резвость. Означает ли это отречение от своей отечественной породы? Как же можно ограничиваться одной породой, когда каждая порода есть результат скрещивания многих пород?

У того же Шеппарда были приобретены еще два жеребца Гановера, и от наших маток пошли у нас один за другим безминутные рысаки. «Без минуты» значит две минуты. Резвость, так называемая «ровная», отсчитывается от трех минут на милю, или полторы версты – дистанцию в 1600 метров. Дальше – чем резвее, тем ближе к двум минутам. Сорокинский Жест поставил рекорд минута и пятьдесят семь секунд – в те времена то была резвость у нас невиданная, редчайшее исключение. Теперь этим не удивишь.

Вспоминая руководителей конного дела, таких, как Долматов, понимавших в этом деле, могу засвидетельствовать: пристрастий патриотических или космополитических никто из них не изъявлял. Просто знали, что есть что. Рецепты получения чего угодно в границах их компетенции им были известны – только бы никто им не мешал действовать согласно их пониманию интересов дела. Наша национальная гордость – орловцы, и пусть только кто-то посмеет поднять на них руку. Доказывать Долматову, что секунды, то есть резвость, это стандартбред – рысаки-американцы, тоже не требовалось. Про Долматова сплетничали: «Он верховик и, куда его ни назначь, там заведутся скаковые». Но ведь этого не было – «не завелись» какие-то слишком многочисленные английские чистокровные лошади. Скаковые, в которых он-таки понимал, для него оставались скаковыми, и я не помню, чтобы он своей властью потеснил какую-либо другую породу ради скаковых. Если в рысках он разбирался не столь совершенно, то, принимая решение, выслушивал мастеров, как тот же Лыткин или друг его Грошев, и я, бывало, при сем присутствовал. Вопреки Канту, полнота знания не оставляла у эксперта места вере. Был ли Долматов конником-патриотом? Он был русским естественно, без форса и нарочитости, без хомяковского скрежета зубовного «Упьюсь я вражьей кррровью!», при спокойно-глубоком сознании «Ни пяди своей земли не отдадим», во всяком случае, демонстрировать и доказывать свою любовь к отечеству ни себе, ни другим ему не требовалось. Он знал орловцев, и на что они способны. Знал и метисов. Знал, что знал, и все. Недостатки, которые у него, несомненно, были (кто без греха?), не распространялись на понимание дела. А демагогия всех оттенков, международно-ориентированная или же сугубо отечественная, ему мешала, начиналась эта демагогия там, где гнездилась какая-то задняя мысль или же верховодило невежество: либо интрига, либо игноранс (неведение) – так было и прежде, и теперь.

* * *

Крепыш бегал от случая к случаю и с метисами, и с американцами. Выигрывал. Раз или два проиграл, причем с очевидностью по вине людей, которые распоряжались им. К тому же ему быстро удалось взять убедительный реванш. После того как Крепыш проиграл резвым метискам Невзгоде и Слабости, он в следующий бег триумфально побил их, и его вели перед трибунами под попоной с надписью «Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Однако испытание то не было последним. Предстоял окончательный бой.

Крепыш был в расцвете сил, «в порядке». И вот когда все сошлось, все решалось, основной конкурент американцев попал к ним в руки.

Шапшал объясняет:

– И Василий Яковлев-Мельгунов, и Иван Барышников, создавшие славу «лошади столетия», были наездники, безусловно, одаренные, но бескультурные, упрямые, а Василий Яковлев к тому же еще отличался и беспутством.

– Да, – подтверждает наездник-ветеран Василий Павлович Волков, – уж если Яковлев загулял, то сапоги из канавы. Идем на уборку вечером: сапоги лаковые у дороги торчат! Что такое? Конечно, Яковлев. И несем его на конюшню.

Вскоре после того, как Яковлев перестал ездить на Крепыше, он скончался. Газеты писали: «Сила и слава отвернулись от этого талантливого наездника, когда от него взяли Крепыша, и он умер с именем своего любимца на устах».

* * *

Сколько и каких мастеров подкосил тот же недуг на моем веку и прямо у меня на глазах... Не мне, грешному, мораль читать, и ответа на этот роковой вопрос я не знаю. Одно можно сказать: как и во всей нашей жизни, здесь – корень. Зла? Не можем без того быть, стало быть, тем и кончится, как кончалось во множестве случаев, а случаев пересказать можно без счета.

Крейдин Анатолий Петрович – враги признавали его первенство. Начинал он, собой парень что надо, помощником у мастера из мастеров, Ратомского Виктора Эдуардовича, однако, они поругались и разошлись. И вот уже после того, как они поругались, я спросил Ратомского о Крейдине. А наездники вообще относятся друг к другу ревниво. Что же ответил Ратомский? Сказал ли он, что бывший его помощник – талант. Нет, он сказал: «Выдающийся талант», – помолчал и повторил, для убедительности растягивая слова: «Вы-да-ющий-ся».

Среди первых Крейдина послали на призы во Францию. Тут дам слово начальнику нашей команды Алексею Юрию Алексеевичу, зоотехнику по образованию и администратору по роду деятельности, знающему зоотехнику и умевшему ладить с людьми администратору.

Рабочий день на Венсеннском ипподроме. Крейдин стоит у дорожки. «Ну, – спрашивает начальник, – дозу принял?» – «Принял», – следует ответ, а доза измерялась не стаканом. – «Цыпленка целиком убрал?» – «Убрал». – «Ты посмотри на них, Анатолий, посмотри на них!» – начальник имеет в виду спортивные формы французских наездников, мимо проезжающих. – «У них, Юрий Алексеевич, свое, а у нас – свое», – с достоинством отвечает русский мастер с внешностью добра-молодца из былин и сказок.

Как он выступал? Успешно. Обыгрывал этих наездников? Бывало, обыгрывал, и уж, конечно, показал себя не хуже любого из них. Только вот что надо добавить: те же самые наездники, судя по программам, и продолжают ездить... А Крейдин? Вечная память.

Он свел счеты с жизнью на конюшне, в том же амуничнике, «кабинете» наездника, куда мы нередко заходили к нему и ни разу не получали от него отказа.

* * *

Крепыш перешел к Ивану Барышникову, однако и у Барышникова имелась своя страсть-помеха: аппетит! Можно было испугаться, говорят свидетели, если увидеть стол, накрытый Барышникову к обеду, и вообразить, что сейчас все это уничтожит один человек. В контракте Барышникова с Шапшалом было специально оговорено: «сбросить пуд живого веса». Этот-то пункт и остался невыполненным!

Следующей кандидатурой среди наездников оказался Вильям Кейтон. В. П. Волков, старый наездник, в ответ на мой запрос написал: «Мой отец работал помощником у его отца – Франка Кейтона, и я хорошо знал всю их семью: сам старик, жена, двое сыновей, Вильям и Самуил, оба наездники, две дочери, одна вышла замуж за американского же наездника Розмайера, а Самуил женился на дочери Зотова, казначея Бегового Общества. У Вильяма была своя довольно большая семья – три дочери и двое сыновей. Старший сын Эдвард к лошадям отношения не имел, он решил стать танцовщиком и учился в школе Большого Театра, а младший Джони, родившийся в Москве, пошел по семейным стопам, став наездником. В связи с революционными событиями в феврале 1917, осенью того же года весь клан двинулся домой – через Сибирь, потому что путь через Европу был закрыт войной. В Екатеринбурге Вильям от своих откололся и два года работал на местном ипподроме, а в 1919 году уехал-таки в Америку. В России 1900-х годов практиковало довольно много иностранных, главным образом, английских и американских наездников, Кейтоны ездили удачнее прочих, а из них лучшим был Вильям». К этому добавлю: камзол Вильяма видел я в Зале Рысистой Славы, а со слов его сына, Джона, записал: «Обстоятельства, задержавшие отца в Екатеринбурге, определялись житейским правилом «ищите женщину», а не политикой». Но это уж от себя добавлю: ведь король призовой езды оказался в Екатеринбурге во время пленения и гибели там низложенного Российского Императора. Не выступал ли Вильям Кейтон на лошадях екатеринбургского туза, купца Ипатьева (брата выдающегося химика), в доме которого содержался Николай II и его семья?

Вернемся к роковому Интернациональному призу. Необходимость для Крепыша образцового тренинга по новейшей системе, писал Шапшал, и вынудила его наконец передать Крепыша американцу. Современники же свидетельствуют, что выбор Шапшала не был свободным. Владелец Крепыша был неродовит, у него имелся патрон, от которого он мечтал откупиться, и вот эти денежные расчеты и поставили Шапшала в зависимость от людей, видевших свою выгоду в том, чтобы Крепыш попал к американскому наезднику: опять-таки символический штрих. Вся судьба Крепыша, как видно, состоит из таких символических сплетений.

Вильям Кейтон был, по всем мнениям, что называется, «добрый малый». Его уважали за приятельский нрав, спортсменство. Как ездок он гремел, считался «королем езды». Конечно, ему попадали отличные лошади. Но и он сам, и его отец Франк подтвердили свой класс после возвращения на родину. И там, в Америке, Вильям продолжал ездить с успехом, особенно ценили его за умение отрабатывать строптивых лошадей. Он был смел, не робея садился на любого строгого рысака. Говорил: «Только бы вожжи выдержали». Не зря же камзол Кейтона висит ныне в Зале Рысистой Славы, где отмечается память наиболее выдающихся американских наездников. Это был настоящий мастер. Но Кейтоны действовали в России не только как тренеры и наездники. Через их руки проходил ввоз американских рысakov. Они были максимально заинтересованы в репутации своего товара. Победа Крепыша в Интернациональном призе оказалась бы для них плохой рекламой. Вильям понимал щекот-

ливость положения. А оно, положение, было просто запутанным: русский рысак, едет на нем американец, и это в призе, где решается честь породы. К тому же на его основном сопернике Джeneralь Эйче сидел не кто другой, а Франк Кейтон, отец Вильяма. Судьба Интернационального приза буквально находилась в руках Кейтонов.

Вильям был «добрым малым», да ведь и Дантес, в конце концов, по-своему «добрый малый», только и вина, и беда его в том, что «не мог понять он нашей славы»... Вильям, по крайней мере, понимал, что победа Крепыша ему невыгодна, но и проигрыш бросит на него тень подозрений. Так что накануне приза он прямо сказал Шапшалу: «Если Джeneralь Эйч будет бежать хорошо, я его обходить не стану». И предложил посадить на Крепыша любого русского наездника. В записках Шапшала нет вразумительного ответа, почему он не воспользовался этой возможностью. Шапшал говорит: не хотел обидеть Кейтона. Что за обида? Что за понимание спорта: не только участвовать в международном соревновании, но еще позволить на себе ехать? Шапшал, кроме того, будто бы опасался, что «перемена рук» плохо скажется на Крепыше. Причина ли это? Разве в новых руках, если это руки мастера, не идут лошади еще лучше?

Лошадь, которую он работал, наездник знает, конечно, лучше всех, однако он же, когда приходит время ехать на ней на приз, и волнуется больше. У такого крэка, как Родзевич, чуть ли не паранойя развилась, потому что он, выигравший множество призов, все никак не мог взять Дерби. Тогда он подготовил к важнейшему испытанию не одного, а двух классных рысаков, только все никак не мог решить, на каком же ему ехать самому, а кого передать в другие руки. Наконец он посадил своего свояка Грошева на Былую Мечту, сам сел на Триумфа, который, по мнению Родзевича, был все-таки резвее. А Грошев обыграл его, и подготовленная им Былая Мечта в чужих руках вошла в историю дербисткой.

– Со мной, – свидетельствовал выдающийся русский наездник Афанасий Филиппович Пасечной, – вел переговоры Шапшал о том, чтобы сел я на Крепыша, если будет нужно...

Кажется, все дело в «если». «Если Джeneralь Эйч побежит хорошо», – сказал Шапшалу Кейтон, а Джeneralь Эйч накануне бега хромал. И, вероятно, владелец Крепыша подумал: «Какой же это соперник!» Как же, должно быть, все удивились, когда на старт американец был, однако, подан в совершенном порядке! Но есть ведь такой прием: иголку – в мышцу, и лошадь делается хромой. Иголку прочь – лошадь идет как ни в чем не бывало.

Всезнающий летописец бегового дела, он же музыковед, Ю. М. Оленев рассказывал: «Недавно один любитель бегов сказал мне: «По-моему, дело ясное – уж если Кейтон заявил Шапшалу, что не станет объезжать Джeneralь Эйча, а Шапшал после этого оставил Крепыша в его руках, значит, Кейтон попросту подкупил Шапшала». Со своей стороны Ю. М. добавлял: «В сущности, это довольно логично, но в действительности ситуация была сложнее». Его мнение: «Ф. и В. Кейтоны оказались умнее и хитрее, именно поэтому они и обвели вокруг пальца М. М. Шапшала, который и сам был довольно ловким и продувным дельцом».

У меня была возможность в Америке спросить Джонни Кейтона, сына Вильяма, почему его отец ради сохранения своей репутации не отказался ехать на Крепыше. Ведь в случае проигрыша короля русских рысаков американский король езды был обречен подвергнуться подозрениям в нечестности. Разве Кейтон этого не понимал? Джонни сказал просто: «Не знаю». Да ведь это все случайности, а тут есть и некие закономерности. Причины парадоксального положения, если говорить о них по существу, лежали глубже. Шапшал, кстати, хорошо разбирается в них и точно называет, когда судит о других людях. «Легкомыслие царило в рядах любителей орловской породы, – говорит он, – на этом легкомыслии метизаторы строили успех своей идеи и неизменно проводили ее в жизнь». А вот еще нарисованная Шапшалом картина: «В Америке – стране, служащей недостижимым идеалом для фанатиков секунд, рысак готовится к проявлению своей резвости годами. Выбирается наиболее подходящий ипподром, день, погода, грунт. Нет того, что ему надо, – он снимается и идет

в другой раз. Рекорд – это такое событие, что в день езды на рекорд закрываются лавки, школы, присутственные места и целый город с нетерпением ждет, когда рысак совершит свой подвиг. А в России? Крепыш едет на рекорд, между тем среди членов администрации находятся такие, которые буквально говорят: «А подсыпь в повороте песочка» или «Полей пожестче, а то касса затрещит...» И это против кого и чего? Против гордости и славы своей же породы и своего коннозаводства...»

Легкомыслие и то, что описано затем, что можно назвать каким-то изуверским самосокрушением, самопожиранием отразилось и на судьбе Крепыша. А уж если искать конечной степени этого самосокрушения в связи с Крепышом, то, конечно, это был Интернациональный приз 12 февраля 1912 года, когда Крепыш так и остался у Кейтона. И наступил день бега. Москва съехала на ипподром. Произошло небывалое: трибуны оказались так переполнены, что к двум часам дня доступ публики был прекращен.

Со старта вырвался вперед Дженераль Эйч, тут же Крепыш. Он так и оставался «тут же» всю дистанцию. Откровенность Вильяма Кейтона, его верность своему обещанию поразительна. Все три версты он держался, что называется, «вторым колесом»: не в спину Дженераль Эйчу и, не пытаясь его перехватить, не по бровке, а рядом, теряя на каждом повороте из-за этого около секунды.

Первый круг Крепыш и Дженераль Эйч прошли голова в голову. Джонни Кейтон даже показал знакомую мне по старым журналам и у него сохранившуюся пожелтевшую фотографию этого момента. Фотография сберегалась как реликвия, в том сомнения быть не могло, но Кейтон-сын неточно представлял себе, что же на ней запечатлено. Он, со слов отца, сказал: это – финиш. Вильям, видимо, не вдавался в подробности (кто знает!), быть может, потому, что у него совесть была все-таки нечиста.

Григорий Дмитриевич Грошев, опытейший наш мастер, молодым человеком видел тот же бег. Он много ездил с Кейтонами, одно время даже работал у Вильяма, так что ему прекрасно была известна их технология. Грошев свидетельствует: похоже было, что Вильям ехал тогда на Крепыше будто за поддужного для Дженераль Эйча, не только не составляя ему опасной конкуренции, но даже помогая, подбадривая его легким соперничеством с поля.

Другой ветеран, наездник Василий Павлович Волков, в свою очередь рассказывает, как происходило дело. Он был еще мальчишкой, но день и бег этот помнит хорошо: ему крепко досталось от матери – за валенки, набитые снегом. А отсырели валенки потому, что на трибуну уже не пускали, смотреть можно было лишь из середины бегового круга, где лежал, естественно, глубокий снег. Отец же Волкова работал управляющим на конюшне Франка Кейтона. На основании всего, что своими глазами видел и от отца слышал, Василий Павлович подтверждает, что бег не являл истинной спортивной борьбы, а казался заведомо рассчитанным, Крепыш был обречен на поражение.

Наконец, вот мнение моей сверстницы, мастера-наездника Аллы Ползуновой. Видеть тот бег она, естественно, не могла, но сохранившееся в преданиях бегового дела знает и понимает досконально. На взгляд современного мастера, суть вот в чем: «Кейтон называл Крепыша «лошадью без сердца», а сам сделал ему последнюю перед призом работу в резвость близкую к рекордной, после и хитрить не требовалось, зная: в призу Крепыш от перенапряжения встанет, что и произошло».

Заканчивая второй круг, Дженераль Эйч вышел на финише вперед и был у столба на секунду раньше Крепыша, что для лошадей такого класса немало – по меньшей мере, четыре корпуса или, как выражаются знатоки, на три запряжки.

На ипподроме стало удивительно тихо. Победителя не приветствовали.

Выигрыш Дженераль Эйча никого не убедил. «Поражение или победа?» – говорилось в спортивных газетах и журналах о Крепыше. Отвечали: «Проигрыш этот стоит любой из прежних побед Крепыша». Но почему, почему все-таки не победа как победа и – все!

С этим и спорили любители лошадей в своих письмах по поводу «роковой неудачливости» Крепыша. Писем было немного, однако все очень серьезные и содержательные, каждое звучало как пароль, призыв и полемика. Писали те, кто своими глазами «видел «лошадь столетия», и те, для кого это была история.

«Крепыш был очень удачлив, – вспоминал актер из Горького. – Другое дело, что его способности эксплуатировали ужасно. Скажем, в воскресенье бежит и выигрывает в Москве, вечером его грузят в поезд, ночь трясется в вагоне, а в понедельник сразу из вагона опять бежит в Петербурге и вновь выигрывает».

«Ошибаетесь, – подчеркивал минский садовод, – представляя Крепыша пораженцем каким-то! – Жизнь его была победной. Он выигрывал и выигрывал. Даже там, где он проигрывал – на Дерби или же в Интернациональном призе, – Крепыш оставался моральным победителем».

«Приятно читать, – писал маститый московский художник, – что современный молодой человек помнит о Крепыше и, кажется, понимает, что это значит. Однако «роковая неудачливость» – это еще вопрос...»

Все же я и здесь говорю о «роковой неудачливости» не потому, что упрямствую или не согласен с авторитетными мнениями. Тут оттенок важен: Крепыш был феноменален, велик, и все чудеса, что творил он на дорожке, были не только возможны, но естественны: «Как же иначе?» Между тем дарового, само собой разумеющегося, положенного ему по классу успеха часто и не выпадало. Моральная победа оказывалась наградой. Но ведь в том же 1912 году для участия в Международном и Бородинском призах приехали французы, и Платон Головкин, а затем Данило Чернушенко в жестокой схватке побили их, выиграли это скаковое Бородино. С какой же стати должен был Крепыш довольствоваться только моральным преимуществом?

Триумф и поражение «короля русских рысаков» – примета того кризисного времени, что было временем расцвета и зрелости, а где зрелость, там недалеко и до упадка. Ситуаций символических по своему значению, а по характеру странных и сомнительных было сколько угодно. Жену брата Бутовича (до которой тому было дела мало) подпустили, словно Офелию к Гамлету, к военному министру, сластолюбивому старику, Сухомлинову. Каково? Говорят, в шпионаже его подозревали зря. В узко-техническом смысле, быть может, и зря, но что существовала болотно-зыбкая среда непозволительных связей, которые опутывали голову общества, весь высший свет, в том сомневаться невозможно.

Вот из тех же времен случай, пожалуй, не менее символический, чем поражение Крепыша, – чистокровный скакун Гальтимор, его покупка и перепродажа. Об этой истории я знал, не знал, в чем заключалась суть, запросил знатока конного дела, зоотехника К. П. Бочкарева, и он мне ответил: «История Гальтимора была и осталась темной: в ней, как и в афере с американским рысаком Вильямом С. К. Рассветом – («Изумруд»), были замешаны персоны слишком высокие по происхождению и слишком влиятельные по положению, чтобы вывести их на свет Божий. Покупка Государственным коннозаводством в Англии за баснословную по тем временам цену этого чистокровного жеребца, будто бы на племя, и неожиданная перепродажа его в Германию за цену весьма скромную – это одно из тех таинственных происшествий, какими у нас был полон период перед революцией. Была ли там, кроме намерения «попользоваться» за счет казны, еще какая-то интрига? Во всяком случае, кто мог, тот хапнул что плохо лежало, – в этом нельзя сомневаться».

* * *

Некогда слышанная мной история гибели Крепыша, в основном, сходится с версией теперь опубликованной. Мне эту историю рассказал начкон Первого Московского завода

Александр Ильич Попов. Крепыш погиб при погрузке – утверждал Попов, ныне на этом все сходятся.

Толком отправить из Симбирска в Москву ценнейшую лошадь не смогли – делалось это в суматохе, в панике, как попало, занимались этим люди неумелые, у которых не только умения не было, но и нужного инвентаря. Погрузка, кроме того, была непредусмотренная, экстренная, поэтому рядом с Крепышом не оказалось его постоянного четвероногого спутника-поддужного, с которым он дружил, повсюду с ним путешествовал, и за которым беспрекословно следовал, а сам по себе, один, ни за что в вагон не шел (эта дружба, хотя и в переиначенном виде, отражена в художественном фильме о Крепыше). У вагона Крепыш, как и следовало ожидать, уперся, его стали понукать, погнали, упал он с платформы и – конец. Сведения о самых последних минутах разноречивы: то ли убился сразу, то ли сломал ногу и пришлось его добивать.

О чем же еще поведал Попов, чего я, однако, не нахожу в других источниках? Речь шла, не больше и не меньше, об участии в операции «Крепыш» Ленина и Троцкого. Об этом в свое время предложил я статейку в журнал «Коневодство», а Главный редактор мне говорит: «Пошел ты...». Этот редактор относился ко мне хорошо, обычно печатал, поместил мой довольно большой очерк о самом Попове, но тут вдруг «закинулся». Упоминания о Троцком испугался? Нет, Троцкого я сам заблаговременно исключил, к тому же «Коневодство» являлось одним из немногих печатных органов, не проходивших цензуры. Чего же было опасаться? Праздновался столетний ленинский юбилей, и чтобы всех опередить, превзойдя соперников усердием, родственно-конкурирующий орган «Свиноводство» поспешил напечатать статью о том, до чего же хорошо Ильич относился к... свиньям. Цензуре журнал, посвященный породистым хавроньям, тоже не подлежал, остановить такой материал никто не побеспокоился, но, когда номер вышел, то заголовок «Роль Ленина в свиноводстве» попался на глаза кому-то из важных и строгих персон. «Свиноводству» всыпали по первое число, а остальным *водствам* для острастки пригрозили, чтобы лишних заслуг и без того великому вождю не приписывали.

Что же касается ленинского или, теперь можно сказать, ленинско-троцкистского вклада в коневодство, вот что рассказывал Попов, и тут на сцену вновь вступает Бутович Яков Иванович, тульский помещик, коннозаводчик, автор замечательных иппологических сочинений, в том числе, со всей ему свойственной страстью написанной статьи «Гибель Крепыша». Этого выдающегося знатока своего дела и прекрасного писателя Александр Ильич хорошо знал. Знал Бутовича и близкий друг Попова, нередко у него гостивший, тоже туляк, входящий в дом Толстых, Михаил Николаевич Румянцев. Бывало, оба они в моем присутствии предавались воспоминаниям, дополняя и поправляя друг друга, и было это, я вам доложу, нечто достойное пера получше моего.

Как говорил Попов, Яков Иванович был свой человек у нас на самом верху. Память, возможно, подводит меня, и связь Бутовича с партийно-правительственной верхушкой была не столь родственной. Бывший помещик-коннозаводчик, по словам Попова, до поры до времени пользовался самым высоким коммунистическим покровительством, это я помню твердо. Шло это, в один голос говорили Александр Ильич с Михаилом Николаевичем, через сестру Троцкого, она же супруга Каменева, она же – Главмузей. «Товарищ Троцкая», – так она упомянута в мемуарах Бутовича. Благодаря такому контакту, утверждали старые друзья, и назначили Якова Ивановича хранителем его же собственной коллекции «коннозаводских портретов», превращенной в Музей коневодства. Через Главмузей, возглавляемый мадам Каменевой, пролегал путь наверх, по которому весть о Крепыше дошла до Кремля.

С Троцким у Бутовича знакомство было давнее. Ведь они – своего рода земляки по Каспер-Николаевскому уезду, где находилось имение Бутовичей, и там же у местных помещиков работал управляющим отец Троцкого. Об этом говорил Попов, однако, говорил он мне

об этом, когда я ещё и не думал писать о лошадях. «Жадным ухом внимая» (по Шекспиру) рассказам Александра Ильича, как и Михаила Николаевича, я, однако, ничего не записывал. Что я не только помню, а стоит у меня перед глазами Попов, повторяющий жест Бутовича, каким тот в еще дореволюционные времена, отправляясь за рубеж, запихивал в задний карман брюк что-нибудь из нелегальной партийной печати и перевозил через границу, приговаривая: «Что мне – трудно оказать им услугу?» Услуги его с приходом к власти тех, кому он услуги оказывал, не были забыты.

Почему же Бутович, любивший щегольнуть знакомствами и связями, сам обо всем этом не рассказал? А посмотрите, в каком году только теперь опубликованная его статья о гибели Крепыша была написана – в двадцать седьмом. Из вождей, ему благоволивших, в то время кое-кого уже в живых не было, кое-кто больше не находился у власти, а кое-кто пользовался далеко не той властью – бравировать было нечем да и небезопасно. Однако Ленин с Троцким все же присутствуют в статье – опосредованно. Разнося на все корки важнейшего, как он считал, виновника гибели Крепыша, того симбирского сапожника, по фамилии Буреев, который был назначен управлять племенной конюшней, Бутович по-своему объясняет, почему и зачем этому сапожнику понадобилось «печь пироги», иными словами, братья не за свое дело: «...Он решился увести Крепыша. Ему мерещилась Москва, Красная площадь. Он с Крепышом, которого спас от чехословаков, ждет Ленина. Вот выходит Ильич, жмет ему руку, благодарит. За ним ему чудится сочувствующая улыбка Троцкого...»

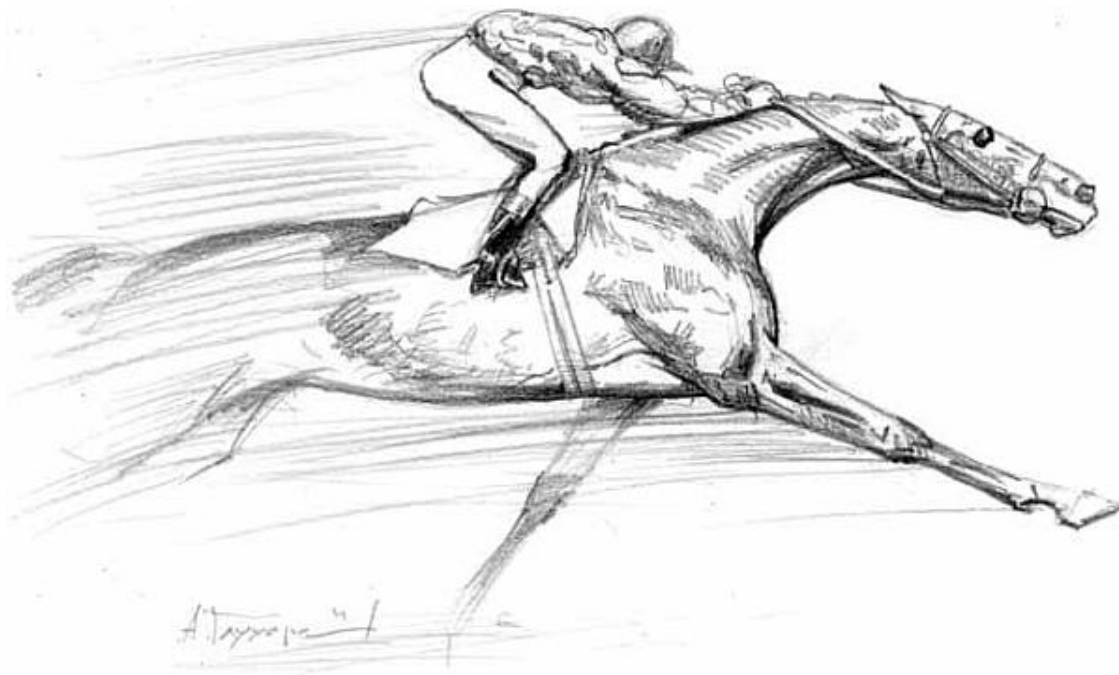
Злополучного сапожника Бутович не встречал, и что мерещилось головотяпу, понадевавшему роковых глупостей, только предполагал, а что Ленин с Троцким могли улыбнуться и даже пожать руку тому, кто спас Крепыша, ему было известно. Попов так и говорил: вожди революции решали, стоит ли короля русских рысаков спасать. Таков был основной мотив истории, как я ее услышал от Александра Ильича, и больше нигде я того же мотива не слышал.

Зачем вообще вождей тревожили, пусть даже о лошади столетия? Не то чтобы я Александру Ильичу или Михаилу Николаевичу не верил, но, сознаюсь, эта часть поповско-румянцева версии вызывала у меня сомнения. Так ли уж было необходимо обращаться на самый верх по поводу перевозки всего-навсего одной-единственной лошади, если находился Крепыш далеко от Кремля, в Симбирске? Сомнения рассеялись, когда в альманахе «Минувшее» в числе архивных находок оказались опубликованы мемуары видного инженера-путейца, «буржуазного спеца», настолько незаменимого, что был он поставлен надзирать над железными дорогами России и при царе, и при Троцком, под началом которого, как известно, находился транспорт. О Крепыше в этих мемуарах, конечно, не содержалось ни слова, но там, на основании сведений из первых рук, со знанием дела, была воссоздана картина жесточайшей централизации перевозок. Мемуарист, казалось, отвечал на мой вопрос, подчеркивая и повторяя: без санкции Кремля ни одного товарного вагона по всей России нельзя было ни загрузить, ни прицепить к составу, ни тронуть с места. За своеволие отвечали головой. Выходит, старики знали, о чем говорили: чтобы вывезти и спасти Крепыша, обойтись без Ленина с Троцким было никак нельзя.

Согласно Попову, обращаясь к Ленину, первым делом сказали не «Крепыш», а – Симбирск! Так утверждал Александр Ильич. Отправленный после окончания своей призовой карьеры в те края, с началом Гражданской войны и под натиском наступавшего генерала Гайды, уникальный рысак был из завода графини Толстой (однофамилица великого писателя) переведен в город. Бутович настаивает, что сделано это было зря, как не было и необходимости перевозить Крепыша в Москву. Но значения сентиментально-местнического мотива я задним числом не преувеличиваю, не придумываю. Запомнилось, с каким нажимом именно об этом рассказывал незабвенный Александр Ильич: говоря Ленину о Симбирске, сыграли на «любви к отеческим гробам», на чувстве привязанности к «родному пепелищу»,

а такая любовь и такое чувство у вождя мировой революции, как ни парадоксально, видно, все-таки теплились. А Троцкого – что надо бы распорядиться насчет вагона – обрабатывали с двух сторон, как говорил Попов, не только из ленинской канцелярии, но также из Главмузея. Дали-таки вагон, а погрузить разборчивого рысака все равно не сумели. То ли его, упавшего с платформы, сапожник хватил поленом по голове, то ли солдат пристрелил у той же платформы. В любом варианте гибель Крепыша выглядит столь же символичной, как и вся его жизнь. Прошла она в старой России и захватила Россию новую, и если в старой его нещадно эксплуатировали, то в новой – угробили: до революции инородцы с иностранцами им распоряжались, в революцию сапожник взялся его спасать – большего символизма, кажется, невозможно вообразить.

Фар-Лэп



Фар-Лэп означает «ослепительный блеск». Это – на языке австралийских аборигенов. Как «длинный прыжок», на английский манер, кличку прочитал в моем очерке из «Коневодства» и прислал мне письмо с критическим замечанием писатель Иван Ефремов. При встрече мы с ним объяснились, но я имел неосторожность тут же сморозить глупость, сказав, что фантаста, устремленного в космос и в будущее, вероятно, не интересуют земные твари, лошади. «Что?! – взорвался Ефремов. – Лошади мне безразличны? Как же вы смеее такое думать, да еще и говорить?» Разговор наш происходил в Малеевском Доме творчества за обеденным столом, и мой разгневанный собеседник стал глазами искать, какой бы тарелкой в меня запустить. Мы еще раз объяснились, а после я получил от Ивана Антоновича его чуть ли не запрещенный роман-бестселлер «Час быка», которого никто не мог достать, а я получил от самого автора еще и с автографом.

Судьба Фар-Лэпа соответствует его кличке: краткая, яркая и напряженная, как молния. Еще называли его Рыжий Ужас, и это передает впечатление, которое производил Фар-Лэп на соперников.

В скачке Фар-Лэпа обычно гандикапировали, то есть пускали со старта далеко позади всех лошадей и заставляли его нести лишний вес. Бывало, что до последнего поворота рыжий гигант так и держался в отдаленье, – но вот прямая, и, пожирая пространство и соперников вместе с ним, Рыжий Ужас надвигался на конкурентов как смерч, как мор, словно стихийное бедствие. У финиша все прочие оказывались сзади.

Естественно, ему завидовали. За ним следили. В него стреляли. Жизнь Фар-Лэпа полна драматизма. Она, сверх всего, от рождения и до смерти знаменитой лошади овеяна тайной.

...Весной 1932 года после триумфальных побед у себя на родине Фар-Лэп в первый и, как оказалось, последний раз в своей жизни покинул Австралию и отправился в международное турне: Мексика, США, а затем планировалась Англия. В Мексике Фар-Лэп с блеском выиграл Большой гандикап. «Поздравляю», – пришла телеграмма из Англии, подписанная «Джордж». То был король Георг. Спустя два дня Фар-Лэп пересек границу Мексики и Соединенных Штатов и был поставлен в Калифорнии на ферме некоего Эдварда Д. Перри

в двадцати пяти милях от Сан-Франциско. Здесь и разыгралась трагедия. После внезапной и краткой агонии прославленный скакун пал.

«Биографию» Фар-Лэпа прислал мне Алан Маршал, автор «Я умею прыгать через лужи» – эту книгу, насколько я знаю, наши мальчишки заучивают наизусть и на память цитируют повесть о мальчишеском мужестве. Сын объездчика Алан сесть на лошадь не мог, переболев полиомиелитом, оставшуюся жизнь проводил в инвалидном кресле. Упоминаю об этом, потому что образ этого прекрасного писателя-австралийца в моем представлении слит с историей выдающегося австралийского скакуна. Людей, видевших Фар-Лэпа, я не встречал. Но Алана знал хорошо, и выражение его глаз, когда говорил он о разыгравшейся трагедии, отражало чувства его народа.

* * *

В Австралию я попал с чтением лекций по линии Общества Дружбы. Моим спутником был журналист Виктор Линник, спецкорр «Правды». Он, я думаю, не откажется засвидетельствовать: при отлете из Москвы стал он свидетелем ситуации, годившейся для кинокомедии вроде «Иронии судьбы». В аэропорту «Шереметьево» Виктору по должности полагалась посадка через VIP-отделение для официальных лиц, там мы сняли и повесили на вешалку свои плащи. Когда же объявили посадку, то я совсем забыл, что часа за два до этого легкий плащ был мной надет вместо тяжелого осенне-зимнего пальто: ведь у антиподов было лето. А на вешалке оказалось точно такое же пальто, я его напялил, при этом, несколько удивляясь, что вроде бы мое пальто вдруг стало мне тесновато, и – припустился на самолёт. Вдогонку мне раздался крик: «Как же тебя, ворюгу, за границу выпускают?!». Кричал, понятно, владелец пальто, какое-то весьма официальное лицо. Успел я в двух словах объяснить ему, в чем дело, однако видел я по его глазам, что меня надо не выпускать куда бы то ни было, а держать взаперти и – построже.

С Виктором выступали мы по всей Австралии. Как только оказались в Мельбурне, уговорил я моего спутника пойти на Флемингтон, ипподром, где выступал Фар-Лэп. Приехали в пять утра, в темноте, и ничего не видели, а только слышали цокот копыт по асфальтированному настилу у выезда на круг и стук копыт о дорожку на галопе. Вышли на переезд у служебной беседки. Встретил Джек Франклин, прикидчик: важная должность, следит за пробными галопами, чтобы не «темнили» лошадей. «Здесь он выступал, здесь», – удостоверял прикидчик, указывая на дорожку прямо у себя под ногами. Он говорил о Фар-Лэпе, угадывая, что мы о нем спросим. Светало, или вернее, как-то вдруг рассвело, и засверкала зелень, лошадей пускали махом, пролетая мимо нас и – перед пустыми трибунами, выходя на прямую. Лошади работали по траве и по грунту. Жокеи – на невероятно высокой посадке – один за другим выезжали на круг. Джек то и дело пояснял: «Один из ведущих... Один из лучших...» Через десять дней на этом кругу разыграют Мельбурнский Кубок, который некогда взял Фар-Лэп. Пошли на конюшню к тренеру Лоусону. Жена его занималась собаками. «Нет того несчастья, которое бы не случилось с этой лошастью, – говорил тренер, указывая на главную надежду своей конюшни, всю в бинтах. – А лошадь хорошая – раз только скакала и выиграла». Взглянул на нас и говорит: «Здесь он выступал, здесь» – указывая на круг.

Удалось посетить и Национальный музей. Увидел я этот особый экспонат – мумифицированного Фар Лэпа. Здесь же седло, попоны, словом, все, что только можно показать ради эффекта присутствия, будто он и не умирал. Трогательно и о многом говорит как символ. Однако чучело, как и у нас в ленинградской Кунсткамере Лизетт Петра, разочаровывает. Здесь тем более, потому что тут же показывают документальный фильм, и рядом с кадрами, на которых запечатлен Фар Лэп, его подобие проигрывает. Пусть легендарный скакун был вислоух, но едва ли до такой, чуть ли не ослиной, степени, в морде совсем не осталось муже-

ственности, а на крупе и на груди не видна мускулатура. Не чувствуется энергия, какой он был полон словно вулкан, и что, к счастью, все-таки сохранило кино.

* * *

Гибель Фар-Лэпа в свое время считалась таинственной, и, возможно, навсегда останется во многих отношениях тайной. Минуло более тридцати лет, и никто за это время не сделал разоблачительных признаний, не появилось существенных свидетельств в пользу той или иной версии. «С нас все еще спрашивается», – на вопрос о Фар-Лэпе мне ответил Джо-зеф Каскарелла, управляющий делами ипподрома Лорел. И больше ни слова. Лицо его приняло выражение серьезное и в то же время непроницаемое. Ни прибавить, ни убавить. Американец не оправдывался и ничего не отрицал.

Приходится скрупулезно восстанавливать историю.

Фар-Лэпа сопровождали пять человек: Дэвис Дж. Дэвис, совладелец (первым и основным владельцем был Телфорд, остававшийся в Австралии), Вильям Нильсен – ветфельдшер, Вильям Эллиот – жокей, Джек Мартин – конюшенный мальчик, и, наконец, бессменный конюх Фар-Лэпа Том Вудкок, тот самый, кто заслонил прославленного скакуна, когда в него стреляли бандиты.

Телфорд, основной владелец, словно предчувствуя беду, долго не соглашался отпустить своего воспитанника в чужие края. Однако энергичный Дэвис, которому уже снились баснословные выигрыши за океаном, уговорил патрона заключить контракт на зарубежные гастроли Фар-Лэпа. Не случайно также отказался ехать и не поехал с Фар-Лэпом его основной жокей Джим Пайк, в руках которого Фар-Лэп одержал наиболее значительные победы, увенчанные Мельбурнским призом 1931 года. Покидая родину, австралийцы постарались увезти с собой ради Фар-Лэпа как можно больше австралийского, как можно больше от своей земли. Корм, в том числе сено, был взят с собой из Австралии. Не исключено, однако, что это дало свои последствия. Нежнейшее австралийское сено со временем высохло, загрибело. Эдвард Перри, владелец роковой фермы, так и говорил, что австралийцы зря пичкали лошадь своим кормом.

При лошади неотлучно находились Нильсен, Эллиот, Мартин и Вудкок. Ветфельдшер, жокей и конюшенный мальчик спали на втором этаже конюшни, конюх – прямо у денника, где помещался Фар-Лэп. Вечером Вудкок дал коню обычную порцию сахара. Фар-Лэп спокойно дремал лежа, одетый в попону. В половине пятого утра конюх вновь пришел с сахаром. Бобби (как называли для краткости Фар-Лэпа, как наши конюхи какого-нибудь Первого Красавца зовут Петькой) не тронул сахар и выглядел совершенно иначе: больным и понурым. Спустился Нильсен и смерил температуру: чуть повышенная. Пришел Мартин, готовый к утренней работе. Он обратил внимание, что попона сорвана, брюхо слегка вздуто.

Потом Фар-Лэпу стало как будто несколько лучше. Однако к одиннадцати часам состояние резко ухудшилось. Еще повысилась температура. Фар-Лэп пытался лечь в деннике. Его вывели на круг и стали по очереди водить. По-прежнему Фар-Лэп пытался лечь, еще больше вздулось брюхо. Нильсен сделал ему обезболивающий укол морфия. И фельдшеру и конюху стало ясно, что это не просто колики. Возникла мысль об отравлении. Не надеясь на себя, Нильсен бросился за помощью и вскоре привез главного ветеринара ближайшего ипподрома, доктора Карло Масорео.

Фар-Лэп как безумный шатался он из стороны в сторону, падал, со стоном катался по земле. Удалось опять завести его в денник. Он рухнул на пол. Вскоре после полудня гигант потянулся, сделал конвульсивную попытку встать. Кровь потоком хлынула из горла. И Фар-Лэпа, легендарного скакуна, гордости всей Австралии, не стало.

Прибыл самолетом Дэвис, срочно вызванный из Лос-Анджелеса, где он вел переговоры в Голливуде о фильме с участием Фар-Лэпа. Его первыми словами было: «Что скажет Телфорд, когда узнает, что я не застраховал лошадь!» Телфорд же первое время просто не верил, что свершившееся правда. Он, должно быть, вполне поверил, только когда получил сердце Фар-Лэпа, огромное сердце, превосходившее в два с половиной раза известный до того крупнейший экземпляр. Поток пошел сообщения и телеграммы. В Австралии были приспущены флаги, радиопередачи прерывались время от времени траурной музыкой. Государственные заседания приостанавливались на несколько минут в молчании. Какой-то художник прямо на тротуаре нарисовал Фар-Лэпа под национальным флагом со словами: «Да упокоится в мире». Огромная и скорбная толпа окружила картину.

По вскрытию и предварительному исследованию Нильсен и Масорео сделали единодушный вывод, что смерть наступила вследствие какого-то желудочного отравления. «Что за отравление?» – возникал вопрос. Явилась мысль о намеренном покушении: «Так хотели приостановить триумфальное движение австралийского феномена по ипподромам Америки». Фар-Лэп пал накануне решающих схваток с класснейшими скакунами США. Губернатор штата Калифорния заявил: «Спортивная честь Америки поставлена под удар. Чтобы защитить ее, необходимо тщательное расследование смерти Фар-Лэпа».

Однако, хотя работали чуть ли не три специальные комиссии, в их деятельности и заключениях оказалось немало странных пропусков, недосмотров, недомолвок. Что за подозрительные шарики видел один австралийский журналист на полу денника Фар-Лэпа? Журналисту этому удалось преодолеть кордон полиции, взявшей мертвого Фар-Лэпа под стражу, и даже спрятать в ботинке один шарик. Но в последнюю минуту его все-таки обыскали, шарик отняли. Больше этих шариков никто не видел. Правда, Вудкок, конюх, свидетельствует, что Фар-Лэп имел привычку катать шарики из кусков глины, которые собирал на полу.

Съел ли Фар-Лэп несколько листьев с деревьев, что росли неподалеку от конюшни и незадолго до этого были опрысканы ядовитой смесью? Смертельна ли доза мышьяка, найденного у него в желудке, если учесть, что лошади вообще давали для аппетита мышьяк? И стоит спросить о Фар-Лэпе конника-австралийца или американца, – как оба они помрачнели: один потому, что полной правды о гибели Фар-Лэпа до сих пор нет, а другой потому, что на конноспортивной чести его страны все еще лежит тень.

* * *

Версия об отравлении Фар-Лэпа возрождается и вновь обсуждается. Австралийский ветеринар, доктор Айван Кепмсон пришел к выводу, что Фар-Лэп пал, получив смертельную дозу мышьяка. Однако его соотечественник профессор Роб Льюис счел эти выводы не вполне обоснованными: если Фар-Лэп и получил значительную дозу яда, то уже после смерти, когда его тушу обрабатывали мышьяком ради сохранности, делая чучело. А доктор Сайкс повторил старую версию – колики от нервного перенапряжения, то есть стресса, причем диагностика желудочных болей, поразивших гиганта-скакуна, в то время не была разработана. Вопрос остается открытым, и закрывать его, кажется, не собираются.

Победа Квadrата



Квадрат, всесоюзный чемпион орловской породы, был, конечно, самой прославленной лошастью, какую только мне посчастливилось узнать, что называется, покороше. Он, однако, до того прославлен, столь неизменно перечисляется вместе со знаменитостями вековой давности, что, глядя теперь на его фотографии в книгах по коневодству, на него, изваянного в камне или в бронзе, на него, ведомого под героическую музыку впереди парадов во главе породы, я с трудом верю самому себе: та ли это лошадь, на которой случилось мне ездить, обращаться к ней требовательно «Но-ое!» или же, напротив, одобрительно похлопывать по загривку или по плечу? Квадрат стал легендой, историей, а история – это ведь, как правило, нечто далекое и высокое, трудно до этого дотянуться, дотронуться, историю по плечу так, между прочим не похлопаешь.

Однако правда: после того как Квадрат завершил свою блистательную беговую карьеру и, ни разу не испытав на ипподроме горечи поражения, вернулся в родной завод, вырастивший и воспитавший его, мне разрешили на нем ездить – делать ему ежедневную проминку. И взялся я за вожжи, которые совсем недавно держал прославленный наездник Александр Родионович Роцин.

Квадрат бежал двадцать раз, и двадцать раз он выигрывал, взяв все традиционные призы для рысаков, в каких только мог принимать участие соответственно двух, трех и четырех лет. Знатоки смотрели подозрительно на его не совсем безупречные ноги и несколько мягковатую спину. Но недочеты сложения Квадрат искупал сердцем. Понятие «сердце» обозначает у конников не только внутренний орган, а нечто более глубокое, самую душу лошади, ее способность вести борьбу на дорожке. Квадрат был бойцом. Он не просто подчинялся требованиям наездника, он сам, словно глубоко сознавая, что от него требуется, искал победы.

Бывают резвые, но какие-то бессмысленные рысаки: вылупил глаза, несется, и все тут! Иные не выдерживают соперничества или же не терпят лошади рядом. Менестрель, например, если захватывали и обходили его на финише, бросался кусать соперника, Травник был так робок (должно быть, от близорукости), что, сравнившись с лидером, не решался высушить впереди него хотя бы нос, чтобы оказаться все-таки первым у столба. Есть рысаки, на которых надо водить бег, тогда они до конца ни за что не уступят первенства. А другие лучше бросаются из-за спины, то есть сначала тянутся сзади за лошадьми и едут концом – на последней прямой. Квадрат выигрывал по-всякому. Случалось, водил бег, выдерживая от звонка до звонка страшнейший натиск. Бывало, едва успевал вырвать первенство броском. Он, как бы заодно с наездником, размышляя, оценивал мгновенно обстановку и выбирал нужную тактику.

Трудно пришлось ему при езде на Дерби. Вышло так, что главные его соперники равно выгадывали, если Квадрат останется сзади. Вот почему они, Маяк, Метеор и Тибет, должны были сообща бороться с Квадратом. На каждом ехал мастер, и Рошин с Квадратом могли быть уверены, что при малейшем просчете им несдобровать. Как по нотам их соперники, опытейшие наездники, разыграли бег. При выходе на прямую Квадрат был прочно «заперт» со всех сторон: посажен в «коробку». Выигрывал Тибет. Однако на мгновение в прочном заслоне образовалась брешь, и Квадрат, быть может даже прежде своего наездника увидев лазейку, кинулся вперед. Четыре класснейших рысак неслись ухо в ухо и четверо столь же классных наездников резались в хлыстах: каждого из них финишная прямая вела к выигрышу приза призов – путь в историю! И конечно, судьбу Большого Всесоюзного Приза решили тут не только мастерские руки наездника, но и сердце лошади: Квадрат был опять первым. И в преклонных годах, когда я ездил на нем, Квадрат-производитель, Квадрат-пенсионер не забывал ипподромных привычек. Он по-прежнему тонко чувствовал дорожку, лошадей рядом, чутко отзывался на руки и вожжи.

Он и детям своим передает это «сердце», пылкость и ум. А детей у него множество: больше пятисот! Среди них уже есть и ветераны, и чемпионы, и рекордсмены. Его сын Бокал, бежавший с успехом на многих ипподромах нашей страны и за рубежом, был прозван «железным» за свою стойкость в борьбе. Причем достоинства Квадрата как производителя сказались еще и в том, что он сумел дать детей резвее себя самого. Не только Бокал, но и Букет, а также Баловник и другие потомки Квадрата превысили рекорды отца.

Квадрат был по-прежнему бодр, хотя ему до четверти века оставалось недалеко. По человеческим меркам, это надо, увеличив раза в три, считать восьмой десяток. Все так же горел его глаз из-за решетки денника. И при взгляде на него являлась одна мысль: «Сколько же сердца у этой лошади!»

* * *

Квадрата уже давно нет. Есть памятник ему. Поставлен на том самом месте, где точно так же стоял он живой, и взор его, полный высокомерного снисхождения, был устремлен на меня. А я... Вот что больше половины столетия тому назад между нами произошло и что я сохранял в тайне на протяжении всей своей наездничьей карьеры, которая и без того была бесславной. А заключался секрет в том, что, только начавшись, карьера моя чуть было тут же не оборвалась. Едва не погубил я и себя, и Квадрата. Себя бы погубил, пожалуй, лишь во мнении окружающих. А коня...

Поручили мне проминку прославленного рысак. Заложили в рабочую качалку. Уселся я, взялся за вожжи. «Легким тротом езжай круга три, а с последнего поворота выпусти чуть резвей», – напутствовал меня заводской тренер Николай Григорьевич Панков. Хотите, верьте – хотите, нет, но то был действительно первый мой в жизни опыт рысистой езды. В руках у

меня – Квадрат. Изъясняются со мной заправски, на особом конюшенном языке. И этот мой первый опыт мог оказаться последним. Я очутился на земле.

Каждый раз, стоит мне вспомнить тот момент, у меня мурашки бегут по спине. От конюшни дорога на заводской беговой круг шла между левадами, вдоль двух высоких изгородей. Поглощенный сознанием своей высокой миссии выпустить рысака-рекордиста «порезвей», я взялся укорачивать вожжи. По литературе я знал: на ходу рысаки сильно тянут. Занятый вожжами, я невольно взял на себя одну из них, Квадрат с его чуткостью тут же отозвался, подал чуть вправо, и конец оглобли застрял в изгороди. Я ничего не заметил, а жеребец послушно продолжал движение, оглобля уперлась в стояк, качалка накренилась и – перевернулась.

Тут я и увидел над собой небо, а на голубом фоне гордую фигуру коня, который стоял как вкопанный, словно памятник самому себе. Если бы то был не Квадрат, который разве что не изъяснялся человеческим языком! Если бы Квадрату вздумалось проучить меня, бросившись куда глаза глядят! Словом, что стало бы... Нет, не со мной, я находился в том возрасте, о котором судят так: попав под машину, спрашиваешь себя, что стало с машиной. Что стало бы с эталонной лошадью? Что стало бы с людьми, отвечавшими за эту лошадь?

Быть может, лошади и не самые умные на свете существа, как это можно узнать из книг. Однако на всю жизнь запомнился мне устремленный на меня взгляд, в котором светилось проникновенное понимание. Квадрат стоял, и, правда, как статуя, не шевелясь. Он позволил мне подняться, он ждал, пока я выправлю качалку, разберу, наконец-то, вожжи, и мы сможем продолжать, как нам было велено, тренинг.

Сделав легким тротом три круга, я с поворота выпустил Квадрата вовсю... Могучий жеребец влег в вожжи, брызги пены, срываясь с удил, полетели мне в лицо. Прохладные брызги и еще ветер вроде как хотели остудить меня и заставить одуматься. И в самом деле, страшно было представить, чем могло это кончиться.

Из конников уже не осталось никого, кому не решился я сказать ни слова о случившемся. А было это в точности на том месте, возле левад, перед манежем, где теперь высится Квадрат—памятник, а тогда он, полный сил, замер, и взгляд его, казалось, говорил «Ну, уж ладно, горе-наездник, подымайся! Поехали!».

Участь «Апикса»

Арех (лат.) – вершина.

Из словаря

– Что?! – ушам не веря, я переспросил.

– Говорю тебе, кружки моет, – отвечал осведомленный собеседник, уточняя, – в баре.

Был я ещё слишком молод, чтобы от такого сообщения закружилась у меня голова, но удар по сознанию испытал я порядочный. Тогда же думал об услышанном написать. И название придумал. «Друг мой, это ты ли?..» – из «Цыганской венгерки» Аполлона Григорьева. Но тот же человек, доктор лошадиный, ветеринар, предостерег:

– И её со всеми поссоришь, и сам со всеми поссоришься.

Многих свидетелей уже нет. В особенности таких, кому её история известна от начала и до конца. Помню первое её появление на ипподроме. Окинув её взглядом, маститый наездник высказался:

– Будет жить с мастером – будет ездить.

И стала она жить с мастером, с ним: ирония судьбы – определили её в помощники к нему на отделение. Получила лошадь в езду, и с первых же её выступлений стало ясно: руки – талант.

С мастером требовалось не только жить, но и пить. И на выпивку оказалась она партнером хоть куда. Мастер, далеко в годах, от чрезмерной нагрузки сдал и вскоре умер. А она жила уже с начальством. Ей и передали осиротевшее отделение.

Выигрывала. Публика стала принимать её всерьез. Даже шуточек на её счет не приходилось слышать. Один попробовал сказать, что заработала она себе отделение не ездой, а... Пришлось ему пожалеть о своем неосторожном замечании. Сам Саввич осудил такие слова. А Саввич, и наездник, и дамский ходок, был большой авторитет – все признавали.

Приехали американцы. Привезли Апикса-Гановера – так значилось в таможенных бумагах, с ним прибывших, и этого изменять не стали, хотя правильнее было бы Апекс. Со временем его кличку стали писать «Эйпекс-Гановер». В этом я участия не принимал. Был и остаюсь противником звукоподражания, иначе Гамлет стал бы у нас Хэмлетом. Создателя его, Вильяма Шекспира, сделали Уильямом, и я – против. *Панталоны, фрак, жилет* – таких слов в нашем языке не было. Вошли эти слова в наш язык и, заметьте, язык наш, усвоив иностранные слова, сделал их произношение удобным и естественным для нас без подражания иностранному. В разговоре с иностранцем попробуйте те же слова произнести по-нашему, и он вас не поймет. Усвоено нашим языком и латинское слово *арех*, обозначающее всё, что наверху. Русского слова «эйпекс» – не знаю, на русском стараюсь говорить по-русски: слов хватает.

В конюшенном просторечьи жеребец звался «Апис», народная этимология придала кличке оттенок мистический, вроде египетского божества. И она его так называла. Если её знал я с первых шагов на ипподроме, то Апикса встречал на погрузочной. «Много в нем мужчины», – говорили знатоки. Сам Асигрит Иванович Тюляев пришел посмотреть. Шепнул мне: «Гляжу и наслаждаюсь». А Тюляева патриотизму учить было бы излишне. Но тюляевский патриотизм – чувство знатока, наделенного пониманием, что есть порода.

Американский резвач выиграл Приз Мира. Владелец его прикинул, что везти жеребца обратно – себе дороже выйдет. Апикс-Гановер был поистине *standardbred* – стандартный ипподромный боец, тут же следом за чемпионами. Так мне сказал владелец. (Этот класс Апикс подтвердил и в потомстве: дети его, как и он, ехали в две минуты с четырьмя-пятью секундами, когда такая резвость у нас считалась рекордной.) Начались переговоры о живом

обмене: за Апикса – годовичков. А когда обмен состоялся, и рысак-американец у нас остался, пошли пересуды, кому же из мастеров резвача отдадут в тренинг. Саввич предвидел: «Ей, кому же еще?».

Так и было. А что? Всё при ней, руки и в остальном, отрицать никто не отрицал. Она сумела утвердить себя в особом реномэ. У начальника, совсем большого, при мне спросили, не желает ли и он... Надо было слышать, как он ответил. Без сальной улыбки, просто и веско отказался за немошью. «Что вы, – сказал, – меня и на один гит не хватит».

А отдали бы Апикса кому из мужиков, пошла бы склока, если не хуже. В соперничестве за лошадей наездники пощады не знают. За что пристрелили Грудю, так, положим, и осталось тайной, но уж старик Зотов, точно, под поезд бросился, после того, как обещал на Калибре особо резво приехать, а не заладилось.

Судьбы американского рысака и нашей одаренной наездницы слились. На отделении у неё «Аписа» чуть ли ни на руках носили и пылинки с него сдували. Несколько раз меня к ней на конюшню вызывали, чтобы я переводил коню-иностранцу изысканные выражения расположения и восторга. Из-за моего неисправимого акцента четвероногий американец едва ли меня понимал (и двуногие не всегда понимают), но разговоры ему едва ли требовались. Видно было, в каких любимцах содержится.

Ездила она на нем в призах беспронимчиво. Даже американцы, ради неё, поступились своими правилами женщин не допускать, и она выступала там на Приз ООН. Осталась третьей, как и следовало ожидать, в компании крэков. А лошади и наездники, ехавшие тогда, ныне поминаются как фигуры легендарные, из героического эпоса. Не кто-нибудь, сам Бил Хоттон и сам Стэнли Дансер были её соперниками.

Жаловался мне на неё только ответственный за пиар, если воспользоваться этим новейшим изящным выражением. Тот эксперт паблисити, как положено, делая свое дело, раздул рекламу, создавая ей популярность, стал её в знаменитость превращать, повез в первоклассную парикмахерскую на Пятой Авеню, где причесывают высший свет, два часа там провели, сделали из неё американскую красотку, ей не понравилось, уж честила она его, уж честила. Понял перестаравшийся американец по тону, слов не понимал – меня при этом не было, однако он же мне показал видеозапись приза – ни Апикс, ни она не подкачали.

Последний раз мы с ней виделись, когда попросила она почитать, что пишет о ней американская пресса. Годы искушений и успеха развили в ней некоторую стержовность, но лишь некоторую, выносимую. А в целом – ладная личность. Щедро природа её одарила. Правда, по Григорьеву, нельзя было не вспомнить:

*На тебе лежит печать
Буйного похмелья,
Горького веселья!*

Пришло время Апикусу уходить в завод. Как без такого фаворита представить себе призы? И за границу выехать станет не с чем. Пробовали его и на племя использовать, и на ипподроме испытывать. Иначе говоря, две шкуры драли. Вот когда начал он злобиться. И у неё уже того подхода к нему не было – нервы подпортились. Раза два с качалки сняли в нетрезвом состоянии. Видели и в невменяемом. И вот она, международный мастер призовой езды, модель мировых куаферов, в пивном баре кружки моет. Собравшись писать, думал поехать поговорить с ней. Знающий человек, которому я доверял, отсоветовал. И больше о ней я не слыхал. Уже в наши дни читаю: ежегодно разыгрывается Приз её памяти...

Апикс ушел в завод. Начконом – дуrolом. Пропойца. Из ружья по самолетам, бывало, палил и ещё угрожающе кричал, словом, и от власти пьянел. Племенного заокеанского жеребца, с которого пылинки когда-то сдували, грубым обращением довели до того, что стал

бросаться, то есть зубами кидаться на людей. Бился о стены денника. Денник перегородили проволокой. Зачем-то ноги проволокой стали опутывать. Сухожилия перетерли. Это последнее, что я о нем слышал. А начкона, который завод развалил, перевели в Главк. Когда мне об этом сказали, я не поверил, как не мог поверить, что *она моет кружки*. Но однажды мне было нужно в Главк позвонить, и я услышал голос человека, который, от водки и власти впадая в неистовство, кричал, когда палил по самолетам. Он дал мне справку, а также попросил мою книжку «Жизнь замечательных лошадей». Сказал: «Не забудьте». Я не забыл, но не успел: книги находились по одну сторону океана, я по другую. А его скоро не стало – сгорел.

В справке об Апиксе, составленной, видно, сведущим летописцем ипподромов и кон-заводов, читаю: «...Усыплен вследствие тяжелого перелома ноги... несчастный случай...» Со времен Крепыша, чья жизнь, по вине головотяпов, прекратилась из-за перелома ноги, не знаю, найдется ли, кроме Апикса-Гановера, пример преступно-нелепый, чтобы жертвой становился рысак экстракласса?

Цена «Песняра»

*«Почему в годы холодной войны известный американский бизнесмен Арманд Хаммер приобрел в СССР за 1 млн. долларов на Терском конном заводе № 169 арабского жеребца Песняра?»
Из интернета 16-го октября 2010 г.*

Всё ещё вспоминают, и нередко, нашумевшую в своё время покупку. Тому уже больше тридцати лет, а Песняр играет роль аргумента и контаргумента в переоценке политики за «железным занавесом». Его не забывают, пересматривая влияние Лысенко и недоверие к генетике, на него ссылаются, поминая борьбу с космополитизмом и, напротив, взвешивая провозглашение «общечеловеческих ценностей» – словом, кое-чего из тогдашнего, что привело нас к теперешнему.

Начатая на памяти у моего поколения борьба с последствиями культа личности вызвала волну реабилитаций. Гласность времен перестройки подняла вал оправданий. В сталинские времена осужденное пересматривалось и пересматривается, что делать необходимо, но политическая реабилитация обычно отождествляется с профессиональной: раз человек политически осужден несправедливо, он оправдывается и профессионально. А на самом деле иного пострадавшего, быть может, надо бы судить и наказывать, но не за то, за что его судили, не как «врага народа», а врага своей профессии. Надо разобраться – чего, как правило, не делали и не делают.

Поспешный и поверхностный подход, понятно, вызывает переоценку переоценки, и вот, вижу, поднимается встречная волна. Реабilitируют не жертв культа личности, оправдывают виновных в их гибели, и делается это опять на глазок и наспех: заодно с фактами и документами в дело идут слухи, легенды и домыслы. Нынешняя переоценка, несомненно, сама подвергнется переоценке, но чтобы колесо истории не вертелось в холостую, желательно располагать фактами *атомарными*, в исходном значении слова «атом», неделимый, дальнейшему расщеплению не подверженный, твердо означающий, *что, кто, где, когда*.

Почему Хаммер купил Песняра – ответить на этот вопрос, разумеется, выше моих сил. И не думаю, что кто-то надежным ответом обладает. Ответа на вопрос о связях причинно-следственных в продаже Песняра не перестанут добиваться по мере открытия новых *что* и *кто*. Но о торговой трансакции, некогда наделавшей шуму и до сих пор поминаемой, я знаю кое-что из первых рук. Не коневод, а всего лишь конник-любитель и переводчик при коневодах, я слышал, что тогда говорили коневоды. Постараюсь внести уточнения в историю, снова и снова рассказываемую подчас, мне кажется, с излишним пылом.

Американец купил у нас лошадь, но что за американец и какая лошадь? Заокеанский нефтяной магнат заплатил – подумать только! – миллион, чтобы приобрести у нас жеребца. *Настолько наша лошадь была хороша* – кто на этом, как, например, Юрий Мухин, настаивает, тот обычно подчеркивает достоинства Песняра из соображений патриотических: наша лошадь, знай наших! Но ведь лошадь по породе была не наша – араб, покупка – политический жест, так это расценивали наши специалисты. Дали бы миллион за орловского рысака или буденновца – другой разговор, но истинно-наших лошадей пока никто за такие деньги не приобретал. И очень ли большие деньги? Миллион за араба – цена хорошая, спору нет, как цена араба, но за такие деньги не купить и одного копыта английского скакуна. Когда Арманд Хаммер, давний агент нашего влияния, делая жест, разорился на миллион за арабскую лошадь, то на мировом рынке за классного английского скакового жеребца давали – сколько? Пятьдесят четыре миллиона, а сейчас не только за скакуна, за американского рысака дают больше, в несколько раз больше.

Песнярь был, что говорить, по себе хорош, но что в нём было особенного хорошего? С одной стороны, потомок арабских жеребцов и кобыл, тех, что ещё в двадцатых-тридцатых годах Буденный закупал в Англии у Леди Вентворт, внучки Байрона, а также у коннозаводчиков Турции. Породу хранили в чистоте – заслуга дорогого стоит, но всё же не так дорого, как было уплочено за Песняря. За наших арабов Терского завода и в отдаленном приближении таких денег не давали. Но Песнярь – внук Асуана, в шестидесятых годах подаренного Насером. Кто Асуана видел, тот имел случай убедиться, как выглядит белая конская кость. Песнярь – удачное сочетание уникальных породных линий, что и придало ему ценность. *Нашего*, кроме умения и труда по сохранению породы, в нем не было ничего. Умение и труд – феноменальные, учитывая наши условия.

Арманда Хаммера я только встречал, знать не знал, но видел, как его обхаживали, но что за этим стояло? Этого не знаю, но знаю, что он, нефтяной магнат, вытеснил из советско-американских отношений другого магната – железнодорожного. Интересно, почему Хаммер купил Песняря? Прежде задайтесь вопросом, почему мы на ходу, так сказать, переменили политических «лошадей»: вместо Сайруса Итона, которому сами же дали Ленинскую премию мира, сделали ставку на Арманда Хаммера, о котором уже тогда знали такую правду, что хуже всякой лжи.

Когда нас с доктором посылали к Итону с тройкой, ответственный работник ЦК нам говорил: Сайрус Итон не самый богатый человек в Америке, но деньги, что у него есть, его деньги. А про Хаммера я в американской прессе читал, что у него и денег не было, и никакой он не магнат. Происхождение всякого большого американского состояния – история не из благородных, но к тому времени, когда Сайрус Итон утвердился на международной арене, это уже был патриарх, покровитель наук, и к тому же скотовод в традиционном ковбойском стиле. А Хаммер был и оставался темной личностью. Вдаваться в это я не вдавался и вдаваться не буду: не моя сфера. Только знаю, что двум китам капитала в нашей политическом пространстве стало тесно. Почему – вопрос не ко мне. Но всякому должно быть ясно: чтобы ответить на вопрос, за что мы получили миллион, надо возыметь доступ к документам, а затем первоисточники изучить, этого ещё не сделано.

У Сайруса Итона я был за кучера и, кроме того, по его же поручению, выступал на телевидении и в школах, а о том, что Хаммер его вытеснял и вытеснил, услышал я уже после его смерти от Сайруса Итона-младшего. Сын рассказывал: встретились два деловых зубра на приеме в нашем же Посольстве, и железнодорожный король у нефтяного спросил: «Что же ты делаешь?» Тот ответил: «А вот так».

Ко мне Итон-младший обратился с просьбой поспособствовать восстановлению прежнего статуса, который занимал его отец. Много ли я мог ему помочь? Написал докладную в Президиум Академии Наук – свою головную организацию. Кроме того, с Итоном-фисом мы прошли от Института мировой литературы, где я работал, до Союза писателей, где я состоял, – путь недолгий, через улицу, но на коротком переходе встречались знакомые, и я представлял им своего спутника. Откликом наших людей на его фамилию сын Итона был, надо признать, впечатлен (выражаясь современным русским языком). «Видите, – говорю ему, – ваше имя знает народ, а вы просите помощи всего лишь у меня! Лучше обращайтесь сразу на тот уровень, где принимали и почитали вашего отца». Сам я в ответ на свои запросы получал нечто «простое, как мычание»: ответы невразумительные. Тогда я думал, это есть некая недоступная моему пониманию большая политика. Теперь мы знаем, что в ту пору формировалась и поднималась прослойка *компрадорская*: государственные служащие, что себя не забывают, когда служат на благо государства. Дальнейшее уже за пределами истории с Песнярем, тем более, что вскоре и Арманд Хаммер переселился туда же, где поджидал его соперник Сайрус Итон. Насколько история меня коснулась, настолько, читая про баснословную по нашим понятиям покупку, вижу: в значительной мере, болтовня бездоказательная.

Песняра приводят в доказательство эффективности лысенковских селекционных методов, делая это опять-таки из соображений патриотических, точнее, узко-националистических, ещё точнее, провинциально-местнических, дескать, учить нас нечего, мы и сами с усами, шапками кого хочешь закидаем, вот же дали нам миллион за нашу лошадь!

Насколько я слышал, лысенковские методы к выведению и выращиванию исключительно породного жеребца отношения не имели. Песняр – подтверждение тезиса профессора Витта: хотите получить по-настоящему ценных лошадей – откройтесь миру. Но когда Витт выдвигал свой тезис, опубликовать книгу об этом он смог лишь в неподцензурном, в продажу не поступавшем, ограниченном издании Московского ипподрома, тираж – сотня экземпляров, что по тем временам и за тираж не считали. (В те же самые, недоброй памяти, времена мой дед-воздухоплаватель числился в лжеученых-космополитах.) Целую стопку книги Витта «Чистокровные породы лошадей» обнаружил я в долматовском кабинете, а мне приходилось нередко там сидеть в одиночестве и часто по ночам в ожидании международных телефонных звонков и результатов наших заокеанских выступлений. Открыл книгу, и передо мной распахнулось окно, через которое можно было увидеть конный мир без границ.

Конская кровь циркулирует по планете, утверждал Витт, вспоминая многовековую мудрость коневодов: «Без полукровных нет чистокровных». Не обязательно пересекать границу, но важно иметь достаточное количество лошадей. У нас ежегодно рождалось сотни полторы чистокровных жеребят, а в Америке – десятки тысяч. А ведь главное – бладо-пул, резервуар племенного материала, возможность выбора и число сочетаний. Успех приносит иногда соединение далеких друг от друга линий, иногда наоборот – близких. Таковы причуды наследственности.

На скачках международные успехи, начиная с конца 50-х годов (раньше мы не выступали), оказались для нас возможны благодаря тому, что после войны по репарации из Германии мы получили высококлассных английских племенных жеребцов. Купить производителей такого класса мы бы не смогли и до сих пор не можем. На бегах наши рысаки успешно выступали за границей в 20-х годах, но то были остатки прежней роскоши – метисы дореволюционных кровей. Затем кровь долгое время не освежалась, дело стало затухать. Повысили у нас рысаки резвость, когда опять, уже в 60-х годах, стали приливать американскую кровь. А теперь даже та резвость, что показывали потомки Аликса-Гановера, стала у нас не в диковинку.

Породы, тщательно сохраняемые в чистоте, как те же арабы, дают изумительных лошадей, нет арабам равных по экстерьеру, нраву и выносливости. Однако если мерилom скакового класса служит финишный столб, то соревноваться с английскими чистокровными арабы негодны. Прекрасны в местных условиях кабардинцы, карабахи, иомуды, башкирцы и другие породы, известные в нашей стране, но чтобы достойно, на мировом уровне, принять участие в соревнованиях по преодолению препятствий, тех же лошадей, незаменимых для домашних целей, приходится что называется улучшать, прибавляя им в росте и резвости приливом всё той же английской крови.

Однако доказавшая свой скаковой класс так называемая «чистокровная» кровь не чиста. В Англию она пришла из аравийских пустынь и, возможно, из Туркменских степей, смешалась с другими кровями и путем длительного отбора дала скакунов, называемых у нас чистокровными, хотя профессор Витт полагал, что слово *thoroughbred* надо переводить как образцово-выведенные. Образцовость определялась одним – резвостью.

Современные туркменские ахалтекинцы оказываются конкурентно-способны опять-таки в результате прилива той же крови. Улучшенным ахалтекинцем был, очевидно, Олимпийский чемпион Абсент. Говорю «очевидно» – мне об этом говорили, знавшие его происхождение, но широко об улучшении предпочитали не упоминать. Зато теперь пошла мода на чистопородных ахалтекинцев, разумеется, смотря по тому, как их хотят использовать. Своего

рода круг. Переводил же я однажды совет нашего знающего зоотехника англичанину-ветеринару испробовать ахалтекинца на чистокровных кобылах. Зачем? У этих кобыл в родословной кровь предков ахалтекинцев – аргамаков-туркоманов: инбридинг!

Возвращение на круги своя дает иногда поразительные результаты. На этом строил свой метод чародей-заводчик, итальянец Федерико Тезио, создатель Рибо – лошади столетия. Что такое Рибо, можно посмотреть по ю-туб: в Призе Триумфальной Арки, привлекающем цвет чистокровных, он уходит от высококлассных соперников, как от стоячих. А почитайте в книге Тезио, как он этого Рибо и прочих своих резвачей, вроде Ботичелли, получил. Не самых резвых родителей подбирал, а наиболее друг другу подходящих. Что значит «подходящих»? В каком отношении «наиболее»? Секрет селекции, которым владел чародей из Дормелло (и о котором писал профессор Витт) – это возможность широкого выбора и нужного подбора. Конечно, кому что требуется. Владелец обувной фабрики, а также конзавода «Гановер-Шуфармз», где родился Апикс, приехал к нам отбирать годовичков, а также хотел купить у нас старую арабскую кобылу. Именно старую, именно арабскую, и у нас. Почему у нас, опять же не знаю. Возможно, тоже хотел жест сделать. Но знаю, зачем ему понадобилась кобыла арабская и старая. Правда, сначала он озадачил нас, когда кобылу осматривал: подошел к ней сзади и дернул за хвост. Дернул и пояснил: «Нет нянки лучше пожилой арабской кобылы». Оказалось, обувной король-коннозаводчик хотел, чтобы его маленькие внуки ползали у неё под ногами, а она стояла бы не шевелясь, как стояла, когда дернули её за хвост.

Не ставлю под сомнение ни прав, ни намерений тех, кто считает нужным заново защищать Лысенко, подвергать критике генетику и вспоминать Песняра, пользуясь им как аргументом против генетики и клонирования в пользу натуральных способов производства потомства. «Лысенко прав!» – мы некогда слышали даже из-за рубежа. Но также слышали: «Лысенко отождествляет успех своих исследований с достижениями советского сельского хозяйства, поэтому любой выпад против него выдает за подрыв социалистического государства», – таково было мнение стороннего наблюдателя, относившегося к Лысенко терпимо и даже одобрительно. Считая его «одаренным агрономом», иностранный автор признавал некоторую правоту Лысенко в критическом отношении к генетике. Но, говорил тот же автор, беда в том, что свою малую правоту (а таковая, как частный случай, в самом деле бесспорна) Лысенко доказывает большой ложью.⁴

Критике должно подлежать всё, что угодно. Как защищать и как критиковать! Помню, друзья-физики мне рассказывали: одна московская ремонтная контора опровергла второй закон термодинамики, но оказалось, что к своим феноменальным результатам ремонтники пришли благодаря тому, что у них электропроводка была неисправна. Давайте признаем правоту того же Лысенко, в чем он был прав, но давайте и критике его подвергнем, в чем ошибался.

Способ доказательства правоты, избранный Лысенко, называется демагогией, об этом спора тоже быть не может. И тот же способ, к сожалению, используют нынешние его сторонники, говоря в первую очередь, что Лысенко биолог советский и русский, павший жертвой очернительства инородных сил. Но кто вовсе не склонен сбрасывать его со счетов (как делают антилысенковцы, представляющие его безграмотным ничтожеством), те определяют его так: Лысенко – фанатик, Савонарола советской науки. Встретившись с ним однажды на конюшне лицом к лицу, берусь это подтвердить – с внешней стороны. Что в принципе значит Савонарола, мне известно, но по существу обсуждать фанатизм в биологии – не моего ума дело. Однако, от сына-генетика (и от брата-физика) слышал: специальные представления о

⁴ См. Eric Ashby, *Scientist in Russia*, Harmondsworth, 1947, P. 116. Дополнительную консультацию на этот счет я получил у своего сына, доктора биологических наук, занимающегося исследовательской работой в биотехнологической фирме «Сангамо» и читающего курс генетики в Калифорнийском университете.

том, что такое ген (или квант) имеют мало общего с представлениями популярными и, тем более, обывательскими.

Борьба с генетикой – времена моего детства, но и в годы зрелости приходилось видеть, как у нас косились на генетику. Сам Витт шел на тактические уступки Лысенко! А в 80-х годах американцы предложили нам обсудить Московскую генетическую школу, которая, не будь уничтожена, пришла бы к тем результатам, которых в 50-х годах достигли Уотсон и Крик: двойная спираль, структура наследственности.

Предложение изучить нашу Московскую школу было сделано американцами на заседании Советско-Американской Комиссии. Моё дело было – проекты по литературоведению, в остальном я сидел и слушал. Слышу – американцы заговорили о Четверикове (глава школы и родственник моего школьного друга). Наши и слышать не хотят. Наклонился я к сидевшему рядом сотруднику Президиума Академии и говорю: «Это же выдающаяся величина – наш козырь!». А он: «Вы что – биолог?». Нет, говорю, отец биолога. Сотрудник прошипел мне в ухо: «Отец биолога, заткнитесь!».

Словом, слышали. Или, как ещё говорится, проходили. Видел, как дед писал «Вранье!» и «Ложь!» на полях псевдопатриотических книг, где говорилось «первые взлетели» о тех, кто не летал и даже не существовал. И надо же! Опять, как ни в чем не бывало, читаю – «первые» и «взлетели». Поэтому при чтении чрезмерных похвал «нашей» лошади, которая *не* наша, мой внутренний голос начинает петь: «Мне все здесь на па-амять при-но-сит бы-ылое...» Чтобы действительно восстановить историческую справедливость, говоря *наша лошадь*, надо знать, что за лошадь, иначе опять пойдут разговоры, какие уже слышали: мало того, что за большие деньги продаем наших лошадей, мы вообще – родина слонов. А нечто в этом роде сейчас, как ни дико, приходится и слышать, и читать.

Подоплека отчаянной схватки между участниками движений попятных и поступательных широка и глубока, а веяния времени границ не имеют. Сейчас в Америке, словно в Средние века или эпоху индустриальной революции, целые пласты населения, единоличники-фермеры и предприниматели так называемого «малого бизнеса», отжили своё. Что делать, они не знают, и никто не знает, что с ними делать. А они, другой дороги не находя, упрямо, как подчиняющаяся зову предков рыба в нерест, прут, вылупив глаза, против хода времени. Кричат «Надо спасать свободную рыночную экономику!», хотя знающие финансисты им говорят: «Свободной рыночной экономики уже давно нигде не существует». (Положим, мы взялись её вводить, но у нас, известно, всё делается, как бы это сказать, ничей слух не оскорбляя, *обратно*, словно мы живем в Стране чудес.)

Случается в США слышать, а в российской прессе читать такие споры и такие доводы, что начинаешь опасаться за свой рассудок. История ничему и никого не учит, давно известно, но среди бела дня отрицают и науку, и технику пользующиеся завоеваниями науки и техники. По американскому телевидению один опрошенный недавно заявил, что в эволюцию не верит, а на вопрос, пойдет ли он к знахарю, который подобно ему Дарвина не признает, или же к врачу, который получил диплом, теорию Дарвина изучая, ответил: «Конечно, к врачу». И по глазам было видно, человек не осознает, что противоречит самому себе.

Такие массовые психозы в литературе называются *историческим бредом*. Но одно дело о катастрофических ситуациях читать, другое – видеть своими глазами и слышать своими ушами. Войну и бомбежки вспоминать не стану. Не буду вспоминать и сталинских похорон, рядом с нашим домом на Пушкинской, когда я уцелел только потому, что едва высунулся из нашего парадного, как меня человеческим шквалом ударило о грузовик и забросило назад, в парадное, больше уж я не делал попыток высунуться.

Но вот мы попали в шторм, когда морем доставляли в Англию лошадей, с тех пор каждый раз, если вижу картины маринистов, как Айвазовский, или читаю «Прощай, свободная стихия...», к видениям играющих волн на полотне и в поэзии, добавляются строки из путе-

вых заметок Диккенса: в качку нельзя понять, где пол – где потолок. Потому добавляются – испытал. Вместе с образцовыми описаниями перед глазами у меня возникает дыбом, до неба, встающая палуба, и память обжигает мысль о том, что трех лошадей у нас закачало – не довезли. Потонуть мы не потонули, и не могли, пожалуй, потонуть, но нагляделись и – понесли потери, положим, лишь среди лошадей, а всё же незабываемо-поучительно. Как сказал поэт, «жаль рыжих, не увидевших земли», а что если сам в общем потоке попадешь в число потерь?

Если люди растерялись, то растерявшиеся часто начинают бредить, сказал философ. Так что не дай Бог попасться на дороге тем, кто, объятые страхом, готовы, подобно стаду, броситься в пропасть, сметая все на своем пути и увлекая тех, кто лететь, очертя голову, не собирался. А что до лошадей, иностранных и наших, повезло: такие, как Саввич и Асигрит Иваныч, отучили попусту, дела не зная, молоть языком. Однажды я восхитился «Прекрасная лошадь!», однако знатоки меня осадили: «Ты об этом судить не можешь».

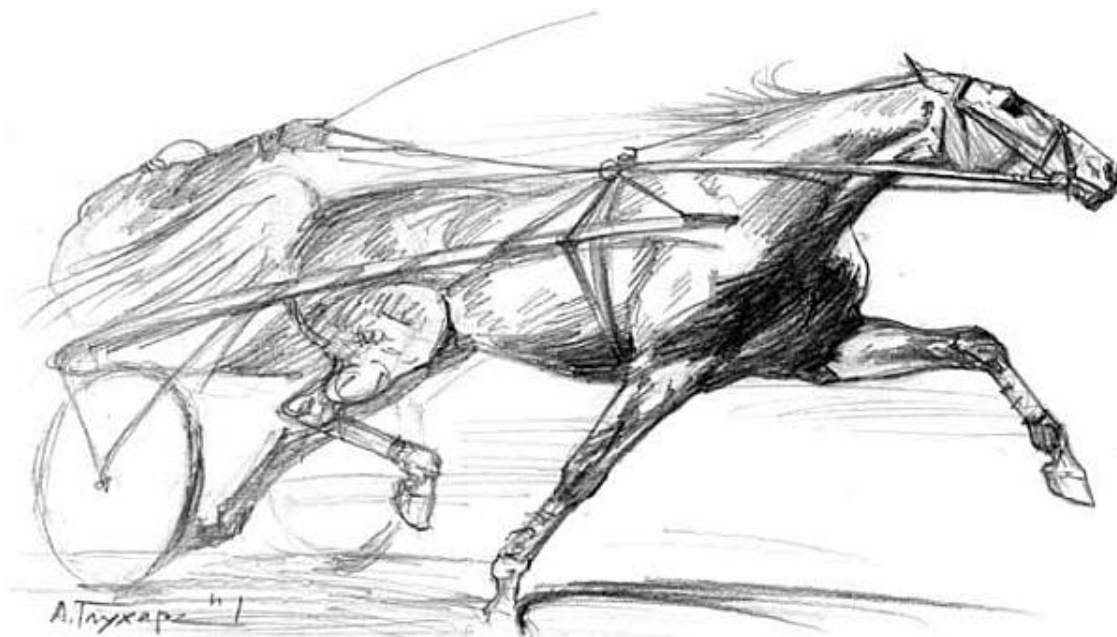
Люди возле лошадей

«В лошади есть нечто такое, что улаживает нам душу»
Уинстон Черчилль



Финский посыл

Из рассказов наездника Петра Васильевича Гречкина



Две минуты и несколько секунд продолжается бег на обычную дистанцию 1600 метров – один круг. Наездника можно спросить о любом моменте борьбы на дорожке – он расскажет, и мгновение, секунда, доля секунды растянется в целую повесть: множество переживаний, событий. Как в знаменитой новелле Амброза Бирса: пока обреченный падает с моста вниз, ему вспоминается вся его жизнь.

Так и наездники. Стоит, например, поинтересоваться у Петра Васильевича Гречкина (его называют только так), почему проиграл он на последних метрах «нос», он подробно изложит некую повесть временных лет. В тот момент, когда, кажется, люди и лошади просто неслись к финишу, не помня себя, наездник наблюдал, словно Пимен, что творилось слева, справа, впереди и даже далеко сзади. «Я подъехал в две пятнадцать, – скажет Петр Васильевич, – а Борис (тот, что был где-то позади него) в две шестнадцать с половиной».

Удивительно также, что Петр Васильевич, грузный, могучий, у которого при разговоре обо всех прочих вещах вырываются шумы какие-то, а не слова, говоря о лошадях, выражается так: «Взгляните, до чего гармоничны движения у этой лысенькой кобылки!» или: «Боже, с каким расчетом и мужеством Флеминг провел весь бег...» Но вот окликнули его: «Петр Васильевич! Пойдите сюда на минуту». Он ответит так, что не только бумага, но стены конюшни едва выдержат. Рысаки поводят ушами. И снова говорит наездник о лошадях: «Прелесть, а не характер у моего гнедого...»

Таковы чудеса конного мира. Мне, хотя я и ездил на призы, самому особенных чудес не удалось испытать. Деревянное напряжение парализует на старте и особенно в беге. Я после езды не помнил почти ничего. Сам не свой – так и есть. А для настоящего наездника со звонком только и начинается жизнь. Он тоже волнуется. Среди опытейших мастеров попадаются до того нервные, что каждый приз – голос дрожит, щеки землистые и папираса за папирсой. Я не то чтобы чересчур волновался. Иногда я совсем не волновался. А все-таки не различал, пока шел бег, ничего в подробностях. Две минуты для меня не растягивались, две минуты и продолжались две минуты. То был мгновенный прочерк. А наездник расскажет

все. Будто все совершалось не минутой, а час, даже день: такое количество всяких наблюдений и соображений у него за время бега накапливается.

Петр Васильевич Гречкин не исключение. Так говорит едва ли не всякий наездник. Просто мне приходилось слушать его особенно часто. Стоило его спросить про финский посыл...

– Я говорю им, – начинал Петр Васильевич, – это же Ягодка. Ягодка!

Петра Васильевича с его серым Гужком послали в Хельсинки на Международные призы. Гужку было три года, он только начинал бегать, а когда Петр Васильевич приехал в Хельсинки и посмотрел соперников, он сразу узнал – Ягодка! Правда, звалась она теперь не Ягодка, а Пехлеви-Ану, но Петр-то Васильевич тотчас увидел: это Ягодка, классная кобыла, купленная некогда финнами у нас. Так не делают: лошадей необходимо гандикапировать, то есть на старте уравнивать их по возрасту и по резвости. Ягодка, или Пехлеви-Ану, была старшего возраста и в расцвете сил. Петр Васильевич заявил в судейскую. Стали выяснять. «Позвольте, – говорят, – это Ягодка?» – «Да, – отвечают, – Ягодка. Вы как хотите, а мы ее с приза не снимем».

Петр Васильевич взял свой особый хлыст.

– Он у меня до тех пор этого хлыста еще не видел, – сказал Петр Васильевич про Гужка.

Дали старт. Финны принимают сначала страшно резво. Лошади приучены вылетать пулей.

– А мне бы только не соскочить, – говорит Петр Васильевич, то есть не сбиться, только бы хватило у Гужка рыси и не перешел он в галоп.

Гужку на старте мешали его задние ноги, длинные и мощные. В них его резвость, но ему трудно было сначала «разобраться ходом», встать на четкую, правильную рысь. Задние ноги действовали слишком энергично, передние, не успевая, пускались скакать. Выручила сила Петра Васильевича. Пальцы слипаются и ноют, если Гречкин пожмет руку. Этими стальными рычагами наездник и налег на вожжи. Он взял Гужка на себя, но не сдерживал, не тормозил его, а, высылая и высылая вперед, буквально нес жеребца на вожжах, на руках. Гужок горячился, кипел. У него был свой азарт. И он нервничал, видя лошадей, несущихся впереди. Тут и взяли своё железные руки Петра Васильевича Гречкина.

Гужок выстоял. Петр Васильевич взглянул на секундомер, зажатый вместе с вожжой в левой руке: «Резво!» Он прикинул, как примерно получится первая четверть круга – чetyреста метров, и осмотрелся. Надо было занять место поудобнее. «Дорога впереди еще длинная», – подумал Петр Васильевич.

И вдруг прямо перед носом Гужка у финского наездника сбилась лошадь. Гужок прыгнул в сторону.

– Я вижу, – говорит Петр Васильевич, – в колесо финну он левой передней попадет. Обязательно попадет! Деваться некуда...

И наездник резко взял на себя. Гужок не выдержал и заскакал.

– Сбой у него мертвый. Думаю, как бы проскачки не получилось.

А есть такое правило: если рысак делает двенадцать скачков галопом, это считается проскачкой, и призового места лошадь лишается. «Эх, Ягодка!» – подумал Петр Васильевич.

А Пехлеви-Ану, она же Ягодка, неслась где-то во главе бега.

– Надо было лишние кабуры положить и довески, – рассуждал про себя Петр Васильевич, между тем как Гужок, словно театральная кукла, дергался на вожжах. – Говорил я Ереме, положи кабуры...

Кабуры и довески – это все из многочисленной беговой «обуви», различные приспособления, которые надеваются рысакам на ноги, на копыта, с тем, чтобы сбалансировать ход лошади. А Ерема – конюх Гужка...

– Поймал я серого на сбою, – рассказывает Петр Васильевич, – поставил на ход. Но, вижу, потерял много. Догонять надо!

Прошли первую четверть, Петр Васильевич еще раз взглянул на секундомер и опять осмотрелся. «Резво!»

Но финны фактически едут фальшпейсом. Иными словами, после резвого приема они сбавляют темп и подстерегают друг друга до последнего поворота, а там опять бросаются что есть сил.

– Тут я их и пошел считать, – говорит Петр Васильевич.

Он все высылал и высылал Гужка, заставляя наवरстывать упущенное. Близилась первая половина круга.

* * *

Трудно писать о действии. «Действуя, не задумываешься», – так говорят. Внутренние мотивы действия едва поддаются выражению в словах, потому, должно быть, что действие и есть выражение, оно сильнее и выразительнее, чем любая литературная условность. До или после действия для описаний – простор. «Не знаю, что зачать», – так переводили у нас в архаические времена гамлетовское «Быть или не быть?», то есть неясное, расплывчатое, еще не оформившееся состояние междудействия, ищущее выхода, само нуждается в словах. Кажется, и в этот момент слова подыскиваются с трудом. «Мне недостает мыслей, чтобы думать», – говорит Гамлет. Но уж если слово найдено, оно оказывается уместно, необходимо. Оно облегчает. А действию слово не нужно; действие – дело, между словом и делом, даже и при гармоническом их соответствии друг другу, все же остается некое извечное противоречие, взаимоисключение. Потому так прекрасно созданное в литературе о покое, о печали, о переходных этапах от слов к делу, но трудно поддается словесному выражению уже выразившееся через действие в самой жизни. И Петр Васильевич Гречкин передает, и я за ним стараюсь повторить, в сущности, короткие интермедии – промежутки между его поступками.

* * *

За первым поворотом по противоположной прямой Гужок шел хорошо. Вот теперь показали себя его задние ноги. На длинном и низком ходу серый жеребец стлался над дорожкой. Петр Васильевич только приговаривал, успокаивая и лошадь и себя самого: «О, маленький! О-о-о!»

Гужок старался. Однако решительный момент наступил. Финны передохнули и готовились к финальному броску. Близок был последний поворот. Петру Васильевичу с Гужком надо было занять место поудобнее – у бровки. Но перед ними было еще много соперников, и они, конечно, не собирались пропускать Гужка вперед с внутренней стороны. Поле, пожалуйста!

– Третьим колесом меня загнали! – вспоминал Петр Васильевич.

Это значит, что еще две лошади шли рядом в борьбе за место у бровки, а Петру Васильевичу пришлось объезжать их кругом – третьим.

Гужку досталось. Однако перевести дух было некогда. «Уходит Ягодка... Уходит!» – следил Петр Васильевич за главной опасностью.

– Петр Васильевич, не подведи! – крикнул ему руководитель нашей команды, стоявший в последнем повороте.

Петр Васильевич хотел было ответить, но только подумал...

Гужок стриганул ушами. «Эх, – рассуждал про себя Петр Васильевич, – трехлетний жеребец! На чем дома буду ездить? Что от него после этой езды останется...» И поднял хлыст.

Гужок прижал уши. Он, чувствуя посыл, весь прижался, принял к дорожке, словно желая ускользнуть от нависающего хлыста. Петр Васильевич подымал хлыст, но все-таки продолжал держать и уговаривать: «О-о-о!»

– Он крупный и длинный, – говорил Петр Васильевич, – ему повороты с трудом даются.

В повороте задние ноги опять начинают мешать Гужку: они со всей силой толкают его, а перед не поспевает. Здесь того и гляди, возможна засечка: ударит заднее копыто по передней ноге – и опять сбой! Пришлось Петру Васильевичу вновь принять жеребца на себя и поддерживать его в повороте вожжами.

Над ухом у Петра Васильевича пыхтел финский рысак, прерывистое дыхание едва не обжигало щеку. Будто невзначай, Петр Васильевич перекинул хлыст на плечо и – дыхание пропало. Задняя лошадь испугалась хлыста, сбилась и отпала. Конечно, Петр Васильевич поступил не совсем по правилам. «Ничего, – подумал Петр Васильевич, – одним меньше». Даже судьи, сопровождавшие весь бег в открытом автомобиле, не заметили его маневра.

Последний поворот пройден. Финишная прямая. И Петр Васильевич опять поднял над Гужком хлыст. Он знал, что требует от жеребца чрезмерного. Гужок честно отдал все, что следовало. Однако нужна победа. Ягодка была впереди.

Петр Васильевич Гречкин взял вожжи в одну руку. Правую ногу, чтобы как можно дальше податься корпусом вперед, он снял с проножки (род стремени на беговой качалке). Хлыст наездник занес над головой. То был особый хлыст, специальный, длиннее обычного и с бычьей жилой на самом конце. Из всех сил Петр Васильевич Гречкин крикнул: «Э-эй! Не отдай!» Он ударил не по спине и не под оглоблю – по пузу, куда обычно бьют, если спина ударов уже не чувствует.

– Я ему под лопатку, под лопатку заглянул я ему, – сказал Петр Васильевич Гречкин.

Бычьей жилой достал он едва не под передние ноги, и Гужок внял отчаянному посылу по-своему. И снова раздалось на весь ипподром: «Э-эй!». Петр Васильевич имел обыкновение, посылая хлыстом, кричать так, будто это его бьют, будто душа у него готова расстаться с его внушительной смертной оболочкой. «Дай тысячу рублей, так нарочно не крикнешь», – говорил про эдакий вопль знаменитый актер-рассказчик Горбунов. Но нельзя сказать, чтобы Петр Васильевич Гречкин кричал себя не помня. Нет, он прежде всего ясно видел, что задумал финский наездник, управлявший Ягодкой. Пришла и Петра Васильевича очередь испытать на себе наездничьи штучки. Гужок обходил Ягодку с поля – справа. По бровке, по внутренней стороне, дороги, конечно, не было. Но как только серый начал равняться с кобылой, финский наездник тоже стал клониться вправо, мешая Гужку, удлиняя ему путь.

«Колесам конец», – подумал Петр Васильевич.

Затрещали оси. Но не таков Петр Васильевич Гречкин, чтобы сама земля, хотя бы и разверзнувшись перед ним бездной, могла его остановить. Он только еще выше поднял и вожжи и хлыст. Он слышал, как шина лопнула.

– У меня ли, у Кескинена, смотреть не стал, – говорит наездник.

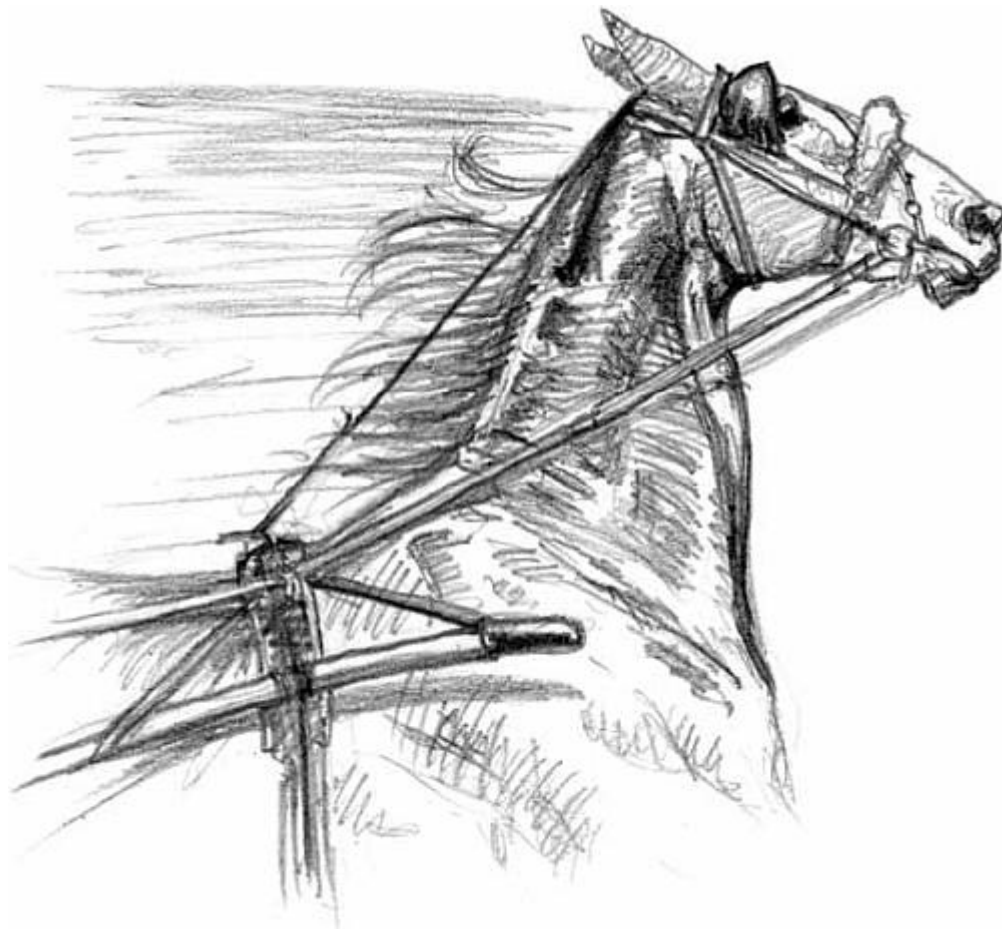
Он напрягся всем телом, согнул ноги в коленях и толкнул что было сил качалку вперед. Со стороны это выглядело, будто он пнул в круп Гужка. А Гужок шел по инерции, уже не отвечая на посыл. Нечем. И только от толчка жеребец чуть подался – нос, шея впереди Ягодки, она же Пехлеви-Ану. И это была победа.

– Мне часто приходилось видеть, – сказал финский судья, вручая Петру Васильевичу кубок, – как лошадь лягает наездника, но я в жизни еще не видел, чтобы наездник лягал лошадь. Поздравляю!

* * *

Из всех фрагментов в книжке этот единственный вызвал неудовольствие мастеров. Грошев, правда, промолчал, а Ратомский сказал: «Это глупость». Дело давнее, но я продолжаю себя спрашивать, что же их возмутило. Сказать, что описанное неправда, никто из них не сказал. Впрочем, Ратомский мне объяснил: такой посыл непродуктивен, удар хлыстом под передние ноги только мешает лошади. У Гречкина могло быть свое мнение, и я двум мастерам не судья. Психологически же некоторым не понравилась жестокость. Опытный тренер Рогалев возмутился: «Почитайте – финский посыл!» Разговор о жестокости уведет нас слишком далеко. Можно ли без нее обойтись? Иные обходились. Скажем, отец Ратомского ездил вообще без хлыста. Из мастеров наших дней, например, Ползунова хлыст только показывала, и этому Алла научилась у Щельцына, на тренотделении которого начинала как помнаездника. Но даже Грошев, гуманный мастер, считал, что иногда проучить необходимо, что, однако, он поручал помощникам. Ирбек Кантемиров при мне сразу после представления попросил у присутствующих прощения за то, что отлучится на конюшню: «Внушение надо сделать», – и удалился, прихватив с собой бич. Нельзя не понуждать и не наказывать, но, как и с людьми, важно, чтобы ясно было – за что.

Трагик и «Гамлет»



Совпадения иногда заставляют заметить себя: заканчивая филологический факультет, я писал работу о «Гамлете», и тогда же мне поручили двухлетку по кличке Трагик. От него многого ждали – последний сын Тибета, а Тибет составил славу Тульского конного завода. Совпадения продолжались: нас с Трагиком записали на приз в первом заезде, это было наше первое выступление, и выпал мне первый номер. Так на конюшне и говорили:

– Оправдай номер! – стало быть, и останься первым.

Великий Грошев еще ездил тогда. На конюшне его называли «Сам». Я думаю, это традиция еще античная. Древние о хозяине дома говорили: «Сам сказал». А о Григории Дмитриевиче высказывались так: «Сам велел вываживать». Или, если его просили ко внутреннему телефону: «Сам на дорожке». Он-то и дал мне Трагика в постоянный тренинг.

Вечером, накануне езды, у меня было удивительное спокойствие. Я вовсе не был уверен, что «оправдаю номер», но я как-то и не думал об этом. Сила совпадений уравнивала меня. После уборки опытейший тренер подошел ко мне и дрожащим голосом произнес:

– Ну, спите спокойно...

Меня охватила паника. Грошев дрожит! Я стал волноваться, как мог. На другой день совпадения были совпадениями: первый раз на приз, первый заезд, первый номер и только одно нарушение: я остался на Трагике вторым. В последнем повороте он хорошо бросился, отвечая на посыл, и почти захватывал лидера.

Вел Александр Александрович Сорокин на Гениальной.

Красная лента через плечо его белого камзола на момент возникла у самого носа Трагика.

А я увлекся, закричал, слегка бросил вожжи, и Трагик, лишившись поддержки, сбился. Из завода пришло Грошеву письмо: «Григорий Дмитриевич! Если сами не хотите садиться на наших классных лошадей, то отдайте лучше помощнику. А вы кого сажаете?»

И конюх Костя, убравший Трагика, хотя и не знал о совпадениях, но так верил в «оправдай номер», что после приза, ползая у Трагика под ногами и снимая ногавки и козырьки, растерянно бормотал:

– Как же это? Как же? Образованный человек... Ведь образованный человек!

Грошев черкнул хлыстом по полу:

– Образованных много, вот умных мало.

Я уже написал работу про «Гамлета», когда у меня взяли Трагика, а взамен я получил Горку, кобылу трех лет. «Вёрхом», то есть спиной, почкой, она была хороша. «Вёрхом просто Гильдеец», – так судили о ней. Значит, очертаниями шеи, спины и крупы напоминала эта кобылка легендарного Гильдейца, к линии которого она с отцовской стороны принадлежала. Однако ноги, ноги! Никудышный товар, пустое дело. Все на ней упражнялись. И Сам садился, и его помощник Морин пробовал работать, а Горка «считала столбы»: не шла ходом, сбиваясь возле каждого фонаря, что окружают для освещения дорожку. И приездка у нее была поперек оглобеля боком. Короче, дрянь. Работал я ее в качалке, ездил часа по три, работал в хомуте, чтобы заставить тянуть и идти ровно, шагал под седлом. Едва только, чтобы своевольно свернуть с дорожки, валилась она на оглоблю, я показывал ей хлыст. Приучил. Потом – экзамены, тренинг пришлось прервать; на кобылке стали ездить по-прежнему: круг – и на конюшню. Когда же снова я взялся за вожжи, она, должно быть, не признала меня и сразу, когда ей вздумалось, повернула к дому. «Что такое?» – произнес я укоризненно. Кобылка совсем встала. Оглянулась. «Ах, – прочел я у нее по глазам, – это опять ты!» И будто никакого недоразумения между нами и не было, она послушно затрусила по кругу. Но спорости на ходу у нее так и не прибавилось.

– Ты ее, – говорили на конюшне, – запряги задом наперед.

Это потому, что все уже было испробовано.

В апреле Грошев записал нас на приз. Была среда, безветренная погода, дорожка сухая, легкая. Проминка вышла еще ничего, а на фальстартах, то есть на пробных приемах перед самым стартом, Горка взялась скакать.

Николай Морин, который сейчас сам уже ездит за мастера, а в то время был у Грошева помощником, подбежал ко мне:

– Чек выше на дырочку! – и сам же подтянул чуть-чуть ремень, который держит на упоре голову лошади. Длина чека вместе с «обувью» – тем, что лошадь несет на ногах, – ключ всей сборки, а стало быть, и секрет хода.

Я поражен был тогда и по-прежнему занят этим, потому что в себе самом едва ли могу найти силы для такого же профессионального бескорыстия. Морин, проиграв на Горке, мне помог на ней выиграть. Знал я, знал и Николай, что, если мне удастся езда, Сам после общих неудач во всеуслышание на его, Николая же Морина счет, скажет ему в упрек: «Вот как ездить надо».

Глаз у Морины был точен. Горка с этим чеком пошла как часы. Не шевельнув вожжами и не тронув хлыстом, я оказался первым.

Приехал в паддок, где отпрягают. Встал на весы. На конюшне поздравляли с громким криком.

Сам черкнул хлыстом по песку:

– Вот как ездить надо.

Как женился Лешка Аист



Лешка Аист, жокей и художник, внук известного философа, а также брат еще более известной балерины, получил в езду классного жеребца. Клички его я не помню, однако точно это был отличный скакун, победитель дистанционных призов. Ипподромная карьера его закончилась, его купило одно из спортивных обществ, и Лешка готовил его теперь к барьерной скачке. Наше знакомство с Лешкой состоялось при разговоре:

– Мальчишкой я десять километров в день топал, чтобы сесть или хотя бы посмотреть на лошадь, – сделал признание Лешка.

– А я – восемь.

Все ясно. Лешкиной идеей было достать двухлетка: он скачет, я – тренер, сначала «тем-ним», потом решающий приз. Победа. Триумф.

Наконец действительно Лешку записали в барьерную скачку на Глухаре. Все у него было особенное – картуз, сапоги и хлыст исключительный. Картуз он у кого-то выменял. Сапоги извлек из семейной рухляди. А хлыст Лешкина знаменитая сестра, прима-танцовщица Большого Театра, привезла ему в подарок то ли из Лондона, то ли из Парижа. В последнем повороте Лешку зажали в «коробку», однако на прямой он вырвался и, лихо пуская хлыст колесом по пальцам, был первым у столба.

После этого Лешка стал мечтать о стипль-чезе.

Стиплъ-чез – сложнейший, во всяком случае наиболее опасный, вид конного спорта. Это скачка на длинную дистанцию с разнообразными препятствиями, высотными и широтными, а главное – «мертвыми», то есть устроенными накрепко. При ударе они не распадаются, как конкурные барьеры, – падает вместе с всадником лошадь. Традиция стипль-чезов идет из Англии, точнее, Ирландии, где в середине XVIII века увлекались скачками по пересеченной местности от колокольни (по-английски – стипль) до колокольни, от селения до селения. Скакали местные жители, хорошо знавшие по округе все канавы, подъемы, спуски

и ручейки. Потом стипль-чез перешел в Англию и наконец развернулся на специальной дистанции возле Ливерпуля в традиционный Большой Национальный приз. Если когда-то обязательным условием стипль-чезов было только два участника, то теперь, напротив, в Ливерпуле стартует иногда до сорока лошадей. А заканчивает дистанцию, случается, лишь четвертая часть: остальные падают, сходят с дистанции. Бывают и гибельные случаи. Таков стипль-чез.

У нас подобием стипль-чеза были прежде Красносельские скачки для офицеров, и Толстой в «Анне Карениной» описал их. Скакал стипль-чезы и Сухово-Кобылин, драматург, автор бессмертной «тарелкинской» трилогии. Из наших писателей он являлся, несомненно, самым выдающимся всадником. Человек он был штатский, но как конника его следует поставить рядом с кадровым кавалеристом Лермонтовым, если даже не еще выше: скакал стипль-чезы, и удачно скакал. Но успех Сухово-Кобылина затеняла мрачная история с убийством его любовницы Симон Диманш, в котором подозревали его самого. Когда Сухово-Кобылин взял наконец большой приз, царь отказался вручать ему награду, потому что при этом нужно было бы позвать руку победителю. Однако такие конские состязания в России и не прижились. Стипль-чез у нас оказался забыт.

Лешка, задумав стипль-чез, печатает грозную статейку. «О чем думают конноспортивные школы? До каких пор?! Или нет спортсменов? Лошадей?» – и подписывает другим именем.

Конноспортивные школы заскребли в затылках: «По-пали!» А на пороге уже Лешка Аист.

– Леша! Ты кстати. Ты скакал барьерные скачки, так не проедешь ли от нашей команды в стипль-чезе? Печать заела. Придется, видно, в этом году его на первенстве устраивать. Леша?

– Пожалуй, – отвечает Аист.

Вот и купили порядочную лошадь. Начинается тренировка. Выезжает однажды Лешка утром на дорожку, видит: глаза и волосы. Погиб. Подскакивает:

– Могу ли иметь честь... Хотел бы предложить... Если угодно прокатиться...

Он не так, конечно, говорил, но он именно это желал сказать. Ему отвечают:

– Что ж... Как-нибудь... Я подумаю... Достаточно ли хороша лошадь... Можно ли на вас полагаться?..

Говорили не так, но имели в виду как раз это.

Лешка взвился. Шаг сделан. И вовсе не затем, чтобы ответить на вопрос, и не ради чего-нибудь показательного, а так – от полета чувств, разобрал повод, перекинул хлыст и помчался по дистанции. Он оставлял позади барьер за барьером. На глухой стене с канавой полетел вместе с лошадью вверх ногами. Жеребец – насмерть. Лешка – головой в землю. Хлыст из рук, однако, не выпустил.

Почему же, спрашивается, не выпустил он из рук хлыста?

Ответ: а вдруг украдут.

Спустя несколько дней они стали мужем и женой.

Профан или Профиль?

Виталий Дорофеев, мастер спорта, остался третьим в первенстве СССР по троеборью; выездка, кросс и преодоление препятствий. Он ехал на чистопородном арабском жеребце Профане. Некоторое время мы с ним не виделись. Виктор писал диссертацию «Использование двигательного-пищевых условных рефлексов в подготовке молодой лошади». Снимал кинокамерой и анализировал подход к препятствию, отталкивание, подъем, подвешивание и т. д. Кроме собственного опыта он опирался на книги Наталии Дуровой, а также использовал труд польского автора «Возможность взаимопонимания». Когда же мы с ним снова встретились, он, между прочим, упомянул:

– Мой Профиль...

– Какой Профиль? Ведь у тебя же был Профан?

– Теперь он Профиль.

Начальство сочло, что для призера первенства «Профан» не годится. Предложили – «Профессор». Но эта кличка какая-то кошачья. Кота сибирского можно Профессором звать, а не арабского жеребца. Пожалуйста, придумывай еще, только никаких Профанов! Что еще за Профан? Где это Профан? Почему? Не Профессор, так Профиль.

Рыжик, как для себя звал Виталий прежнего Профана, а теперешнего Профиля, от клички не переменялся. Был все так же вдумчив и по-прежнему старательно прыгал через барьеры, которые подымались выше него самого. Но кличка – облик, все что прежде, казалось, отвечает в лошади имени Профан: вислые уши, белая лысина по храпу, рыжая простодушная масть – для Профиля стало ни к чему, обезличилось.

«Дать жеребенку имя – дело непростое», – было сказано в талантливом фильме, нашем раннем боевике «Смелые люди». Едва ли не вся страна, посмотревшая фильм, осознала, в чем сложность. Рысистым и верховым лошадям клички даются по-разному. И оттенок, и смак у них разный. Рысаку выбирают имя с начальной буквой по матери, стараясь, чтобы в середине попала и буква отца. Улов от Ловчего и Удачной, Квадрат от Пролива и Керамики. У скаковых бывает и по матери и по отцу: Гранит 2-й от Тагора и Глицинии, Грог 2-й от Гранита 2-го и Гипотезы, Герань от Грога 2-го и Радуги, Проза от Парт-Фоора и Риторикки. Кавалеристы же предпочитают по отцу. Пошло это еще от Растопчина. А одно время ввели правило лошадей всех пород называть по отцу. Профан, кстати, назван был по отцу – от Прибоя или Померанца, точно не помню. А его соконюшенник Канкан (от Корея), также не удержался в своем звании. В газетах как-то промелькнуло: плохой танец канкан! И Канкан сделался на другой день Капканом. У нас на конюшне была кобыла Амнистия. Вдруг в самом деле объявляется прощение преступникам. Нельзя! Могут понять как намек. Пусть Амнистия будет Алмазная. А Дарлинг в ходе борьбы с космополитизмом стал Дорогим.

Как иногда возникают клички? В них отражается колорит времени, в них запечатлелись пристрастия заводчика и цели племенной работы. Знаменитый Малютин верил только в орловцев, он не признавал ни чистопородных американцев, ни метисов. Однажды, впрочем, ему пришлось уступить настояниям женщины, и он купил американскую кобылу Биг-Мейд. От нее и прославленного Леля родилась кобылка, которую Малютин назвал Быть Может. И хотя, как говорят, Быть Может оправдала надежду, выраженную в ее причудливой кличке, бежала удачно, Малютин навсегда отказался от скрещивания. Правда, он еще раз случил Биг-Мейд. На этот раз родился жеребец, и Малютин, назвав его Брось Мудрить, тут же подарил его вместе с Быть Может своей симпатии.

Хотя бы по чередованию стилей, торжеству того или другого пошиба в подборе конских кличек видны перемены в конской охоте, рысистом деле. Со времен легендарного Сметанного, или Сметанки, давшего всему корень, Полкана – прародителя, и Барса 1-

го – родоначальника, и далее ко всем некогда гремевшим Бычкам, Кроликам, Атласным, Милым, Почтенным, Потешным и Пылюгам чувствуется в каждом имени нечто домашнее, уютное, что слышно, скажем, и в названии тургеневского дивана «Самосон» или толстовской рожицы – Старый Заказ. Это один язык, один склад жизни, где собаку зовут Заругай, коня – Надежный, кота – Тимофей Иванович, а канарейку или скворца – Утешительный. Деревня, дом, лес, река – все в этом мире наделено именами, означающими индивидуальность, «домашность» отношения со стороны живущих в этом мире. Тут и возникает семейный круг, круг знакомств, связей, «свой круг», «круг чтения».

Чем ближе к новейшему времени, тем все слышнее по кличкам, как отдаляется лошадь от человека. Центурион, Тальони, Патруль, Кронпринц – знаменитости начала XX века, – что «домашнего» в этих именах? Цеппелин, Авиация вторят конским кличкам или конские клички вторят названиям промышленных фирм, вывескам богатых магазинов, контор, оказываются созвучны понятиям, часто попадающимся вокруг. А если и возникало личное, то либо что-нибудь декадентское – Безнадежная Ласка, или же купеческий «модерн» – Барин Молодой, Эх-Ма...

Прежде рысака могли назвать и Баловень и Директор, но, во всяком случае, владелец что-то хотел этим сказать, и владельцу та или другая кличка о чем-то говорила, связывала его со «своим». А тут возникает и растет безразличная серийность, лошади не называются, как получают имя творения рук человеческих, а обозначаются чем угодно, что только ни попадает под руку: Профессор, Портфель, Престиж, Погон и т. п.

Не всегда, конечно. Традиция живет. Должно быть в кличке лошади нечто особое! Опытный коневод Александр Ильич Попов, истощивший свою фантазию в поисках имен на «Б» (от Бравурного), а потом на «К» (от Квадрата), попросил меня однажды помочь ему придумать с десяток названий для только что родившихся жеребят. Что ж особенного? А между тем Попов ни одного предложения не принял, все мои клички забраковал.

– Призового жеребца, – рассуждал он, – нельзя назвать Красавец Мужчина, Красавец Геркулес или какой-нибудь Знакомый Красавец – вот!

– Почему?

– Невозможно вам объяснить... – вздыхал Александр Ильич. – Чувство на это должно быть, чувство!

Прошло время, и Профиль вместо Профан резануло слух – вспомнился сам собой урок.

Прилепские времена

Из года в год слушал я Александра Ильича Попова, начальника конной части Московского конзавода. Рассказы были замечательные. Любимым словом рассказчика было – по охоте, от души. О лошадях Попов говорил самозабвенно, воодушевляясь до такой степени, что обращался ко мне:

– Помните, в 12-м году под знаменем Яков Иванович выводит гнездо одномастных кобыл...

– Александр Ильич! Как же я могу это помнить?

Тут он замечал, что говорит с молодым человеком, годным ему во внуки, задумывался, должно быть, прикидывая, как же далеко ушло время, о котором он с таким жаром повествует. Заслуженный зоотехник РСФСР, орденоносец, был он скрытой контрой, жил прошлым и в прошлом. Знаменитые заводчики, ремонтеры, выдающиеся знатоки породы озарили его молодость, и во взгляде у него я всегда читал: «Вам не видать таких сражений...»

Помня девятьсот двенадцатый год и светло-серых кобыл под известно каким знаменем, он сам на Всесоюзной выставке блеснул белизной, породностью и фамильным сходством заводских маток из семейства Гички, разве что под другим знаменем. «Ах, Александр Ильич, – поразились все, – картина!» Он сделал это по воспоминаниям, во имя дорогих воспоминаний.

В Александре Ильиче сразу же чувствовалось, как глубоко укоренен он в своем деле. С гимназических лет стал он лошадиным-любителем, и уже тогда к мнению Саши Попова прислушивались маститые «охотники» бегов. Однако по образованию он был... юристом. И завкафедрой коневодства Витт был юристом. И Хосроев, автор учебника по рысистому тренингу. Я спрашивал, почему? Александр Ильич объяснил: «От страха».

Начал он работать по специальности при ревтрибунале юрист-консультантом, и председатель ему говорит: «Когда я ложу резолюцию синим – читай, вникай! А если красным, читать не нужно: это значит в расход». И столько, признавался Попов, насмотрелся он красных резолюций, что при первой же возможности сменил профессию.

Что-то в том же роде произошло и с другими юристами, сделавшимися специалистами по лошадям, как выразился Попов, от страха. А его самого спас случай. В поезде Тула-Москва оказался он в одном купе с главой Гукона Глебовым, из тех бывших, в экспертизе которых нуждался новый режим. В дороге, как водится, разговорились, в результате Попов оказался в своем мире, лошадей.

Спаситель Попова, влиятельный конник, это – отец Петра Глебова, актера, что прославился в кино исполнением роли Григория Мелехова в фильме по «Тихому Дону». У друзей-актеров я спрашивал, почему же ему, хорошо передававшему тип донского казака, не подобрали соответствующую Аксиныю, а у нас таковой была, несомненно, Нонна Мордюкова. А потому, было мне объяснено, что у Петра кость тонка, он же из Глебовых, рядом с такой натуральной казачкой, какой была Мордюкова, ему бы роль не удалась.

Другой сын того же Глебова, Федор, художник, был вылитый отец. Мы, мальчишки, возглавляемые Василием Ливановым, другом моим со школьных лет, тогда ещё будущей кинознаменитостью, прихватив с собой «дядю Федю», с внешностью красавца-мужчины и нравом печального мальчика, приехали на конзавод. Прихватили, чтобы представить Попову и тем самым показать, что мы с ним свои люди. Еще прежде чем успели мы рот открыть, чтобы назвать, как мы думали, – незнакомца, Александр Ильич, понимавший не только в породе лошадиной, лишь взглянул и – сразу: «Вы Глебов?». Тогда излюбленная Толстым поговорка «порода сказывается», обрела в моих глазах оправдание. А нам, мальчишкам, за счет этой встречи навсегда оказалась открыта дорога на конзавод.

Попов был знатоком-виртуозом. «Ведь я и пыль в глаза пустить умею», – посмеивался Александр Ильич. Надо же проверить покупателя или же просто собеседника, насколько понимает в лошадях. Но как? Расхваливать никудышный товар – недостойный прием барышников. И Александр Ильич говорит правду:

– Эта лошадь никогда не была первой у столба!

Но говорит он это с таким восторгом, что неискушенному слышится: «Перед вами непобедимый ипподромный боец!»

Многие из навыков и приемов Александр Ильич перенял от своего старшего друга и сотрудника, Якова Ивановича Бутовича, в том числе он унаследовал от него склонность патронировать иппическому искусству, оказывая поддержку художникам, пишущим картины с изображением лошадей. Как жанр коннозаводский портрет требует зрения двойного – нужно понимать природу живописи и экстерьер лошадей. Ведь это картины, имеющие не только художественную ценность, но и практическое назначение. В прежние времена, когда перевозка лошадей была проблемой, их нередко покупали по портретам. Так что на полотне кровную лошадь требовалось изобразить так, как демонстрируют ее на выводке, чтобы знаток видел стати этой лошадь, стоит ли ее приобретать. Живописность и вообще искусство в данном случае отодвигались на второй план, главное – достоверность, правильный постанов, чтобы мускулатура и вся конституция были видны. Поэтому живописцы, считавшие себя прежде всего художниками, творцами произведений искусства, рассматривали коннозаводские портреты как нечто их недостойное. Если Серов написал Летучего, то сколько ему Малютин заплатил? Но в суровые времена войн, революций и вообще разрухи выбирать не приходится, особенно нашей революции, когда власть оказалась не только в руках революционеров-политиков, но и революционеров от искусства. Средства были ограничены, всем не хватало, распределение же шло в пользу творческого авангарда, а традиционалисты, способные изобразить лошадь похожей на лошадь, оказывались не у дел, проще говоря, без куска хлеба. Выручали их коневоды, кормить художников им было не накладно, и художникам при лошадях не голодно. В Прилепах, благодаря протекции Попова, пристроился будущий академик живописи Георгий Савицкий, который прежде понятия не имел о коннозаводских портретах, а тут начал с того, что написал Кипариса. А уже на Первом Московском заводе, продолжая ту же традицию, Попов дал приют Борису Преображенскому, и тот запечатлел ему всех производителей, среди них – Пролива, отца Квадрата. В том и другом случае, как говорил Александр Ильич, оплата осуществлялась в порядке натурального обмена – картины за картошку.

Итак, Бутович. О нем Попов вспоминал постоянно и с особым воодушевлением. Это, конечно, фигура на целый роман. Перескажу лишь один случай. В начале все тех же бурных 1920-х годов, когда Александра Ильича назначили управляющим в Прилепы, а Яков Иванович заведовал там музеем, состоявшим из его собственной коллекции коннозаводских портретов, пригласили их в Тулу на бега. Как известно, сразу после революции Бутович обратился к советскому правительству с просьбой принять в государственное владение его заводское и музейное имущество. Прилепская коллекция картин, которая дала начало нынешнему Музею коневодства, оценивалась тогда в два миллиона. Революция расколола семейство Бутовичей. Старший брат, Владимир Иванович, тот самый, чьи авантюры легли в основу знаменитого рассказа «Изумруд», отправился за границу и хотел было увести с собой не только Прилепский, но и Хреновской конный завод. Иными словами, страна лишилась бы основы своей исконной рысистой орловской породы. «Нет, – сказал Яков Иванович, – хотя и жаль своё отдавать, но пусть этим владеет наш хам, но только не западный лавочник!»

Словом, Александр Ильич и Яков Иванович отправились в Тулу выступать перед собранием Губсельтреста – говорить о породе. Говорил, разумеется, Яков Иванович.

Не мог я помнить кобыл под знаменем, не мог слышать Бутовича, но я видел его рукописи: слог – свободная речь, «говорит, как пишет». Представляю, как это звучало и выглядело. «По типу эта лошадь, несомненно, русская, если так можно выразиться, былинная...» Короче, говорилось по охоте и с блеском. Надо учесть, сверх того, силу внутренней веры в значение лошади, в особенности рысистой, да еще орловской, той веры, какой жило то поколение конников, для которого роль лошади оставалась универсальной. Ведь не ради картинности, не ради выводки или выставки спешил впоследствии Попов на пустом месте сформировать конный завод, на лошадях которого Красная кавалерия тут же шла в бой. И в Тулу съехались не ради краснобайства, а послушать больших знатоков, пусть классово чуждых, и решить, как развивать коневодство дальше.

Съехались тужурки, пиджаки, гимнастерки, буденновки, съехалось новое начальство, вставшее во главе заводов. Из этих людей Александр Ильич, при всей своей оппозиционности, с благодарностью вспоминал некоего Мухина. То был совсем другой человек, не тот, что требовал не читать, когда «ложил» он резолюцию красными чернилами. И Мухин писать мог всего-навсего так: «Надысь отказал и таперича тоже. Муха». Однако малограмотной рукой водила светлая голова, и корявые письма содержали здравый смысл: отказывал «Муха» тем, кому и с точки зрения просвещенного знатока лошадей следовало отказать. Яков же Иванович при виде тужурок не мог не поморщиться. Сидело в нем неисправимое барское фанфаронство. Недаром же кто помнит Бутовича прежде всего говорит: «Умен был! Умен», а затем «Но ар-рап!». На тужурки Бутович смотрел свысока, он на всех смотрел свысока, «большим барином», а ведь этого самого валяжного Якова Ивановича Лев Николаевич Толстой не признал как соседа. Водворившись в Прилепах, поехал Бутович в Ясную Поляну представиться, его приняли, поговорили сухо и... разошлись. «Лошадиный» рассказ Куприна Толстой ставил высоко, но, видимо, слышал он и о фактической подоплеке всей истории, связанной с семейкой из Каспер-Николаевского уезда Херсонской губернии. Херсонский помещик, подобно Чичикову, Бутович вполне был бы уместен среди гоголевских персонажей, сочетая в себе ноздревскую силу и удаль, а также и неразборчивость в средствах. И, не отнимешь, понимание орловской лошади. Ради лошадей ему многое прощали, и он, при встрече с классовыми врагами, все забыл и – заговорил. Бутович шел как бы в последний бой, вызов бросал: «Вот как у нас было! Посмотрим, на что вы, нынешние, окажетесь способны!» Однако такие, как Муха, все подобное оставляли без внимания и по делу внимали каждому слову исключительного специалиста – заклятого врага.

– Тихо было, как в церкви, – вспоминал Александр Ильич и на некоторое время умолкал.

Он слушал неразличимый для меня голос глубокой памяти, который, вероятно, повторял ему слово в слово речь Бутовича.

Потом посыпались записки, вопросы, и ответы потребовали еще целой лекции. Остался в руках у оратора последний клочок бумаги.

– Граждане, – обратился Яков Иванович в зал, – есть еще один вопрос. Но, однако, не знаю, стоит ли зачитывать. К нашей беседе записка прямого касательства не имеет.

– Читайте! – кричат. – Всё читайте!

И Бутович прочел: «Уважаемый Яков Иванович! Думаете ли Вы, сидя в собственном заводе директором, что все еще может вернуться и быть по-старому?»

После этого Александр Ильич опять умолкал, видимо, переживая в который раз смертельную тишину, установившуюся тогда в зале.

На парадоксальное свое положение в заводе Бутович сам смотрел с иронией. «Показываю музей, – говорил он, – вот зал помещика, вот картины, собранные помещиком, а вот и сам помещик». И все ждали, что же об этой двусмысленной ситуации скажет знаменитейший заводчик.

– Признаюсь, – начал Яков Иванович, – что приславший эту записку прочел мои мысли.

– Я, – говорил Александр Ильич, – стал искать глазами двери.

– Потому что, – продолжал Бутович, – когда вечером в одиночестве сижу у себя в кабинете, смотрю на собранные мною картины, и курю еще оставшиеся у меня гаванские сигары, кажется мне, будто все по-прежнему и будет так вечно. Но утром мой Никанорыч, ныне смотритель музея, приходит и докладывает: «Вставайте, барин, наше начальство, господин комиссар, приехали!» И я, увидев отвратительную рожу комиссара Пупырышкина, понимаю, что все ушло и ушло безвозвратно!

Следует опять-таки представить себе авторитет выдающегося коннозаводчика, власть славного имени, силу только что произнесенного картинного слова, открывшего тайны и горизонты племенного дела, наконец, фигуру «большого барина», щегольскую бороду, глаза с блеском, барственный жест, чтобы оценить обстановку, создавшуюся в зале. Поэтому, придя в себя от страха и счастливый тем, что на этот раз вроде бы сошло, Попов обратился к Бутовичу:

– Яков Иванович, у меня нет вашего апломба, – Александр Ильич, видимо, хотел сказать «авторитета», но от страха оговорился, так это и осталось в его памяти, – поэтому, ради нашей дружбы, вы больше так не рискуйте нашими головами.

Бутович в ответ лишь снисходительно улыбнулся и бросил кучеру:

«Пошел в Прилепы!».

Эпилог 2010 года

«Курские помещики хорошо пишут».
«Записки сумасшедшего»

Замечательным оратором был коннозаводчик Яков Иванович Бутович – об этом узнал я от его сподвижника, начкона Первого Московского завода Александра Ильича Попова. А что он прекрасный писатель, в том я убедился после того, как в Музее коневодства мне разрешили прочитать его рукопись о коннозаводских портретах. Рассказывая о рукописи наезднику Грошеву, я сказал *воспоминания*. «Нет, нет, – поправил меня Григорий Дмитриевич, – воспоминания у Лямина». То есть у директора Пермского конного завода. «Воспоминания Бутовича, – подчеркнул Грошев, – это ляминские тетради». Разговор наш происходил на грошевском тренотделении Центрального Московского ипподрома в середине 50-х годов. Через полвека «ляминские тетради» превратились в три великолепно изданных тома: «Мои Полканы и Лебеди» (2003), «Лошади моей души» (2008) и «Лебединая песня» (2010).

Трехтомник, достойный отдельными страницами встать рядом с тургеневской «Лебедянью» из «Записок охотника», а в целом – замечательное чтение о лошадиниках и лошадях: все что касается Крепыша или истории Вильяма СК-Рассвета, давшего Куприну сюжет «Изумруда», портреты таких заводчиков, как Малютин и Телегин, наездников, как Ляпунов, Синегубкин, Леонард и Эдуард Ратомские, а также художников, как Сверчков и Самокиш, и, конечно, некоторые тюремные злоключения и страдания, скажем, стремление вспомнить родословную Полкана 3-го, когда силы и рассудок, кажется, покидают мученика. Тут, читая, вспоминаешь гетевские строки: «Кто с хлебом слез своих не ел...»

Бутович начал создавать свой шедевр, когда почва под ним стала колебаться, в годы разрухи и непокоя, а последние годы и вовсе в тюрьме. Писал карандашом, на тюремных нарах, однако по живописности и благоуханности описаний, кажется, написано не возле параша в спертom воздухе «перенаселенной» камеры, а в тиши комфортабельного кабинета, в окружении иппических книг и картин, с пером в одной руке, с дорогой сигарой – в другой и за чашкой крепкого кофе.

Как же уцелело это чудо? Ставшие известными в конных кругах «ляминские тетради» передал Виталию Петровичу Лямину сам автор. Когда и как? Об этом редакторы мемуаров знают, по их словам, мало и лишь приблизительно. Есть в издании фотография Лямина. Всматриваюсь, не могу припомнить, встречались ли мы с ним на ипподроме. В дни больших призов я сопровождал иностранных гостей, если были гости из стран английского языка, и нас помещали в директорской ложе, где находились и наши директора конзаводов. Нет, Лямина не помню. Вижу по фотографии: трижды орденосец. Грошевского типа фигура – верный и нераздобревший служитель конного культа.

После «Дела славистов», ⁵ из попавшихся мне книг, мемуары Бутовича, помимо их коннозаводского значения, это прекрасным пером воссозданная картина схватки личных интересов под видом борьбы за советскую власть. В историко-политических трудах, появившихся у нас и за рубежом, освещается преимущественно борьба наверху, а борьба шла сквозная, на всех уровнях.

«Кто сделал всё, чтобы посадить меня в тюрьму... Враги, которые желали моей гибели», – пишет и повторяет Бутович. Кто же были эти враги? Где? В Кремле? Нет, согласно мемуаристу, среди окружающих. Знакомо! Так было с моим отцом, и с дедом так было:

⁵ Ф. Д. Ашнин и В. М. Алпатов. Дело славистов. М., 1994. Книга повествует о том, как не сверху, а снизу, непосредственным окружением, вытеснялись из науки и жизни крупнейшие русские историки и лингвисты. Другого такого индуктивного исследования не знаю. Обычно начинают дедуктивно – сверху.

доносы на них написали такие же научные сотрудники, желавшие продвинуться по службе и занять место моих ближайших родственников. Был ли Бутович опасен Сталину, когда после первого заключения выпущенный из тюрьмы схоронился в тургеневских Щиграх? Пока не опубликовали справку о смертном приговоре, я думал, его удавили местные мужики за его склонность – гомосексуализм. Нет, обвинили в «антисоветской пропаганде». Он что – по городу ходил и агитировал? Редакторам издания выдали справку о приведении приговора в исполнение, выдать выдали, а в сохранившийся протокол допроса заглянуть не разрешили, стало быть, остается неведомым, какой же «антисоветской агитацией и пропагандой» занимался коннозаводчик. Ругать советскую власть Яков Иванович ругал, причем, публично, ругал так, что слушавшие его представители советской власти устраивали ему овацию. Терпеть вашу власть не могу, говорил Бутович, но знаю, что время моей власти миновало. Шквал аплодисментов – слышал я от слышавших эти антисоветские речи и эти аплодисменты. И Сталин велел его *опять* посадить? Верховная власть, как свидетельствует сам Бутович, его защищала, а устранить хотели местные карьеристы. По рассказам знавших его, он завистникам облегчал задачу повадками «большого барина», заносчивостью и самомнением.

Современник и сотрудник Бутовича, В. О. Витт, юрист по образованию, когда переменились времена, переменил образ деятельности, как бы выйдя из игры, которая могла оказаться смертельно опасной, и стал иппологом. Другой юрист, тоже бывший сотрудником Бутовича, А. И. Попов, просил его помолчать и не играть с огнем. Бутович профессии не менял, был и остался коневодом, не умерил он и своих амбиций.

Из мемуаров следует, что до революции и после революции Яков Иванович претендовал на руководящую роль, по крайней мере, в орловском коннозаводстве. Говорит он об этом прямо. А борьба за власть шла у нас во всех областях сверху донизу. Вчитываясь, скажем, в историю критических дебатов по вопросам творческого метода, вы не поймете, о чем спорили, если не учтете, что творческий метод – декорация на сцене, а за кулисами спорили по существу о власти, и к власти приходил не тот, кто лучше разбирался в творчестве, а у кого имелось больше сил и находилось больше сторонников свою волю к власти утвердить. Если Бутович хотел власти, то ещё кто-то хотел той же власти сильнее. Так попал Бутович в тюрьму первый раз. И во второй, надо думать, добрались до него всё те же самые враги, которым был он лично ненавистен и лично мешал. Возможно, и областные органы план посадок выполняли. Отцу, реабилитированному, признался за кадрами, раньше служивший в КГБ: «В конце квартала ищешь, кого бы взять».

Борьба идёт всюду, у нас она ожесточалась притиснутостью людей друг другу. Хемингуэй сравнил литературный мир Нью-Йорка с клубком поедающих друг друга глистов. «Мы пауки в банке», – сказал моей матери видный советский деятель киноискусства Леонид Косматов. Суть сталинизма, очередного в истории цезаризма,⁶ в поощрении людей, которым ради достижения своих целей нужно, чтобы поставленный Сталиным на видный (и завидный) пост будто бы возымел намерение покушаться на Сталина: такова участь директора издательства, под началом которого работал мой отец и, когда того взяли, отец оказался ото всюду исключен за то, что не донес на своего начальника. Отец оправдывался тем, что нечего было доносить. Рассказывайте! Как же не покушаться на Сталина тому, кто делает при Сталине блестящую карьеру, кто Сталиным назначен на высокий пост, пост и без того завидный, а говорили, что того же директора собираются ещё и повесить, назначив министром культуры. Пора его разоблачить, самое время!

Таков был механизм власти, другого создать не сумели. Желавшим занять пост оставалось действовать, вытесняя предшественника, как вытесняли Бутовича желавшие занять его место директора конзавода и конной галлерей, ранее ему принадлежавших и отданных

⁶ Формально – народовластие, фактически – власть одного лица, как при Юлии Цезаре.

советскому государству. Советскому государству от бывшего барина ничего больше нужно не было, нужно было окружавшим его завистникам, а государство им потворствовало, даже поощряло, а подчас за то же самое усердие наказывало, доставалось тем и другим. Трехтомная исповедь Бутовича объясняет его страшную судьбу не суммарным «неудовольствием властей». Это было неудовольствием людей, имевших воздействие на власть. Зачем сваливать на власть, когда Бутович поименно называет тех, кто желал и кто добился его гибели? А эти люди тянут за собой целую сеть отношений – не одно поколение.

Более двадцати лет назад сделал я попытку опубликовать очерк Бутовича о «Холстомере», а мой наибольший начальник, академик Михаил Борисович Храпченко, говорит: «Мы же все это знаем». Знаем, говорю, без указания на источник. Сведения о лошадях, содержащиеся у Бутовича, известный и крупный исследователь литературы Борис Михайлович Эйхенбаум использовал в своей книге о Толстом, использовать использовал, а ссылки, откуда взял, не сделал. У меня, когда я читал эти замечательные страницы Эйхенбаума, возникло чувство, прямо скажу, изумления: откуда же он всё это знает, когда того ещё не знали эксперты конного дела?

Сотрудник ВНИИ Коневодства В. О. Липпинг передал мне письмо Бутовича 1937 года, посланное незадолго до его второго ареста и гибели: просит зайти в редакцию Полного Собрания сочинений Толстого в Мерзляковском переулке и забрать его рукопись о «Холстомере». Не мог литературовед сослаться на репрессированного коннозаводчика? Во всяком случае, мог сослаться на Музей Коневодства, куда рукопись Бутовича поступила.

«Зачем же мы будем компрометировать видного ученого? – ласково спрашивает Михаил Борисович. – Вы этого хотите?». Нет, этого я не хотел. Многоопытный академик-секретарь, руководитель сталинской выучки, задал мне ещё вежливый вопрос: «В таком случае, о чем разговор?». Разговор о том, кто был кто и, значит, как оно было, и это чаще всего оказывается несвоевременным по частным причинам. Благодаря Андрею Ивановичу Ефимову, редактору ЖЗЛ и любителю бегов, очерк был опубликован в альманахе «Прометей» (том 12, 1980). В том же выпуске участвовал Михаил Борисович, и не возразил против публикации, он же не был против публикации, он, оберегая репутацию коллеги и покой тех, кого публикация могла встревожить, не хотел публикации в академическом, ему подотчетном, издании. О, мудрость времени!

Почему много лет спустя не позволили составителям трехтомника прочесть протокол допроса, после которого Бутовича и приговорили к расстрелу? А не хотели компрометировать выносивших приговор и, быть может, приводивших его в исполнение. Эйхенбаум, разумеется, не хотел гибели Бутовича, и его самого уже не было в живых, но кто заботился о репутации видного литературоведа, те не хотели печатать очерк, публикация которого могла бросить тень не только на беспорочную репутацию ученого, она, чего доброго, подорвала бы авторитет людей, охраняющих беспорочность репутации ученого. Зачем печатать материалы покойного, если эти материалы могут нанести урон авторитету благополучно здравствующих?

Читая Бутовича, я вспоминал «Разведение чистокровных» Тезио: та же линия коннозаводской мысли – вера в подбор. Мой сын, генетик, Бутовича ещё не читал, но Тезио прочел, говорит: «Это магистраль современной генетики». Сочетаемость родителей – вот что дает искомый результат.

О Тезио я слышал от Дориа. Знакомая знакомых, которые просили показать ей лошадей, она рассказала, что Федерико Тезио был свояком с Паоло Трубецким, русским князем итало-американского происхождения. Тот самый Трубецкой, скульптор, что сделал иронический памятник Александру III («Свинья-матушка», Розанов), а также изумительную статуетку Толстого верхом на лошади. Во время сеанса на вопрос Толстого, читал ли он его сочинения, скульптор ответил: «Вот ещё! Стану я читать всякую чепуху!». Сам Толстой отверг в

это время свое художественное творчество, а речь шла о нравоучительных трактатах. Нашу беседу с Дориа я хотел не только записать, но и опубликовать, однако после первых же слов эту затею пришлось оставить. «Мы все были фашистами», – сказала синьора Дориа, увидев на моем лице изумление после самых первых её слов, что Тезио был фашист. В этом смысле, мы, жившие при Сталине, являлись сталинистами. Однако сестры держались противоположных убеждений. Их дни проходили в дебатах о политике. Супруга Паоло являлась левой, жена Федерико – правой.

Оба, Бутович и Тезио, видели, и не раз, доказательства правоты своих взглядов: финишный столб у них на глазах показывал, кто прав в принципах селекции и подбора. Но ни тот, ни другой не дожили до полного триумфа. Рибо оказался признан лошадью столетия уже после кончины своего создателя. И Улов явился доказательством коннозаводской правоты Бутовича после его смерти. Но когда Рибо взял Триумфальную Арку, только и говорили о Тезио. А Улова я помню, пусть как пятно, огромное белое пятно – на предвоенной Выставке Сельского Хозяйства. Помню восторги публики, толпящейся у денника и восхищающейся чудесной белой лошадью. Не знали мы, восхищавшиеся, что над создателем скакового жеребца уже приведен в исполнение смертный приговор.

Из мемуаров Бутовича каждый может почерпнуть по своим интересам. Читая мемуары я каждый раз вздрагивал, встречая знакомое имя. Бутович дает словесный портрет наездника Ляпунова – помню Ляпунова. Говорит о Семичеве – вместе с ним ездил на призы. Кого он называет молодыми, как Александра Федоровича Щельцына или Виктора Эдуардовича Ратомского, тех я знал в пору их зрелости и старости, но знал: то время оставлось ещё совсем близко, а теперь оно унеслось. Почти что состояние шока я испытал, читая, как Бутович прощался с Прилепами, и вот почему. Провожал его крестьянин Чикин. Меня в Прилепах встретил – Чикин, друг Васька, заводской наездник. Посмотрели мы лошадей, повел он меня в старый господский дом... Было это в 1960 году, и вот в третьей части воспоминаний Бутовича читаю: «Грустно и тяжело было смотреть на это ободранное, ещё так недавно столь красивое и нарядное помещение. Особенно неприятное впечатление производили стены с торчащими крюками и гвоздями или дырками от них». Крюки и гвозди, на которых висели собранные Бутовичем картины, снятые и увезенные в Москву. Когда я был в Прилепах сорок лет спустя после того, как бросал на них прощальный взгляд Бутович, крюки так и торчали, так и зияли незаштукатуренные дыры: снимали картины и увезли в Москву, а дыры зияли, напоминая, как еще близко прошлое, и что если вдруг оно в самом деле вернется? У меня мелькнула подобная мысль, но я ее сразу отогнал, как полную невероятность. А ведь, возможно, дыры и не успели законопатить, когда завод чуть было опять не стал частной собственностью.

Васька дал мне лошадь и дрожки, и покатил я в Ясную Поляну...

Читая Бутовича, текст которого составители сопроводили подбором выразительных иллюстраций, жалеешь об одном. Нет таких знатоков, как В. О. Витт, В. О. Липпинг или Ю. М. Оленев. Какие рецензии они бы написали на трехтомник! И не только потому, что необычайно много знали. Двое из них знали самого Бутовича и все трое были погружены в атмосферу его времени. Их отзывы очертили бы яркую фигуру выдающегося коннозаводчика с той достойной рельефностью, о которой говорит Шекспир: «Ничего не сглаживайте и ничего не преувеличивайте по злобе».

«По этапу»



Верхами мы сопровождали колонну каторжников. Серые, оборванные, обросшие, они влачили, скованные цепью, позвякивая этой цепью, позвякивая кандалами. А мы, конвойные, побрякивая шашками, покручивая усы, возвышались вокруг на дончаках.

Это было, конечно, на киносъемках.

Все, что время, а также условность искусства сделали безобидной бутафорией – когтистый герб, полосатые столбы, кандалный звон, песни и ропот каторжников – окружало нас. Каждый из нас умел нацепить шпоры, но шашки, португеи, ремни, шнурки, вообще весь аппарат жандармских мундиров подчинялся нам с трудом. Стлался едкий дым, пущенный пиротехниками.

– Да зачем это? – чихали мы.

– Для перспективы.

Оператор с бородой, страшнее каторжника, сидел в яме у наших копыт. Все снималось, как видно, с точки зрения бездыханного тела, трясшегося на тюремной телеге.

Шурка Панков в костюме офицера то и дело вырывался вперед и, гарцуя перед гримершами, делал пассаж и пиаффе – приемы высшей школы верховой езды. В стороне наш тренер готовился к смертельному трюковому номеру: убитый, он должен будет на полном скаку лететь через голову вместе с лошадыо. Называется это подсечкой. Шурка и его сверстники, гарцуя перед гримершами, просили тренера уступить им геройство, однако он отвечал:

– Нет, ребята. Я все понимаю, но нельзя – скользко. Придется мне самому.

Заменить его мог только еще один опытный мастер, который был в нашей команде, однако его мучила своя задача: он соображал, как «убить лошадь». Каторжники вдруг под-

нимали бунт, бросались на конвой, и в свалке погибали не только жандармы, но и лошадь. «Эх, безвинная», – звучала реплика. Каторжники толпились над конской тушей. Кино готово было в самом деле угробить лошадь и торговалось, сколько это будет стоить. Тут бывалый конник и предложил не убивать, а только усыпить животное. Оставалось лишь рассчитать дозу и время действия снотворного, чтобы гибель коня выглядела вполне натуральной.

– Конвой, – внушал нам режиссер, – идет прямо на меня. Прошу вас несколько выдвинуть вперед вон ту лошадь – желтую!

– Она рыжая.

– Пусть рыжая. А тем временем черная...

– Вороная!

Режиссер только махнул рукой и продолжал командовать. Раз за разом, подчиняясь ему, мы выполняли одни и те же эволюции возле полосатого столба, который отсчитывал откуда-то сотни верст. Нам, казалось, суждено было протопать не меньше. От лошадей валил пар, а каторжники уже безо всякого актерства еле переставляли ноги. Они уже не в силах были возвращаться к исходной позиции и начинать все сначала, так что серая шеренга взялась кружить вокруг столба, сокращая время и расстояние.

– Довольно, – кричал режиссер. – Каторжные, остановитесь!

– Не можем, – роптали в ответ, а громче всех бездыханное тело на тряской телеге, – в образ вошли... Снимай, снимай же!

– Пленка кончилась! – провозгласил из ямы бородач.

Волей-неволей образовался привал «арестантов». «Бездыханное тело» поднялся и закурил, да и все прочие вздохнули с облегчением. Мы спешили и ослабили подпруги. Ясный, однако короткий осенний день собирался вот-вот сделаться тусклым, и потому решено было, как только будет налажен аппарат, испытать подсечку.

Наш тренер, некогда чемпион Москвы, уже приготовил свою «музыку», как он выражался. Механизм подсечки состоит в стропах с кольцами, которые надеваются на передние ноги лошади; стропы пропущены под подпругой, и всадник держит их вместе с поводьями в руке. На полном ходу дергает он за стропы, кольца путают передние ноги лошади, и оба летят через голову.

– Знаете, – вдохновился оператор, – а если убрать у лошади с головы всю эту... сбрую? Все сорвано в схватке, и конь летит без узды...

– Ну, нет, – спокойно остановил его тренер, – без оголовья (уздечки) ты сам садись, а я полезу в твою скважину!

Мне вспомнился рассказ одного знаменитого актера о том, как он в первый и единственный раз взгромоздился на лошадь, чтобы отснять эпизод в фильме о легендарной битве, где он был полководцем. Едва прозвучала команда «Мотор!» и лошадь сделала лишнее движение, он тотчас рухнул, путаясь в стремях и поводьях. Но как только он попробовал освободиться от стремени, раздался зверский вопль оператора: «Лежать! Лежать!» И сладострастный его шепот: «Прекра-асный кадр...»

У нас, однако, этот «аморализм» преимущества не получил.

– Ладно, – взялся за свое дело режиссер, – вы летите прямо на меня...

Второй наш мастер суетился тут же, помогая товарищу в последних приготовлениях.

– Я готов, – сказал наш тренер.

Пиротехники подпустили еще едкого дыма. Каторжники забыли свои муки и цепи в ожидании небывалого зрелища. Стояла тишина.

Тренер поднял в галоп с места. Гулко и далеко прозвучали копыта. Все лошади разом вскинули головы и настроили уши, следя с заметным волнением за своим собратом.

Многие, даже опытные конники, кричат в решительную минуту. Кричат на финише, покрикивают перед прыжком, улюлюкают, прежде чем выкинуть какой-нибудь сложный

трюк; они не только понукают криком лошадь, но главным образом подбадривают себя. Наш тренер делал все молча, как и подобает классному профессионалу, который уже не способен в чем-либо недооценивать или переоценивать себя, а просто, что может, то может – и все.

Тренер пустил лошадь махом. Точно поймал он момент, когда от малейшего натяжения строп передние ноги, разом поднявшиеся в скачке, схлестнулись и – столб пыли, копыта, взбрыкнувшие к небу, – а сам он уже вставал, отряхивая землю и траву с плеча и колена, как бы торопясь освободиться от всякой лишней соринки в механизме своего безупречного умения. Мальчишки ловили его ошалевшую лошадь. Примерши ахали. «Каторжники», гремя кандалами, гудели, поражаясь, что бывает работа помозолистее, чем у них. От режиссера и оператора не последовало ни слова, ни вздоха, что, должно быть, означало их полное удовлетворение, ибо бородач опять полез в яму: снимать «смерть лошади».

Не так-то легко заставить лошадь принять микстуру или пилюли. Она знает простой и добротный вкус травы, сена, зерна, она возьмет хлеб и сахар, но даже масленого пирога лошадь есть не станет. А тут лекарство! Она не будет пить воду, если почует чужой привкус. Засунуть ей порошки под язык, она их вытолкнет. И решено было снотворное впрыснуть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.